

A portrait of Alexander Pushkin, showing him from the chest up. He has dark, curly hair and a beard, and is wearing a dark coat over a white shirt with a high collar. The background is a dark, textured brown.

*“Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа”.*

Александр Пушкин

Александр
Пушкин

РОССИЯ!

ВСТАНЬ И ВОЗВЫШАЙСЯ!

А. С. Пушкин. Россия! Встань и возвышайся!. //ООО «Издательство Родина», Москва, 2023
ISBN: 978-5-00180-643-1
FB2: Руслан Волченко "Ruslan ", 04 June 2023, version 1.1
UUID: f0c777d5-0166-11ee-8496-0cc47af30fe4
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Александр Сергеевич Пушкин

**Россия! Встань и
возвышайся!**
(Кто мы? (Алгоритм))

В книге великого русского поэта, мыслителя, публициста Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837) собраны его главные идеологические произведения, выражающие духовные ценности нашего Отечества. Пушкин первый стал смотреть на литературу как на служение национальному идеалу русского народа.

Пушкин преклоняется перед русским прошлым, гордится им, видит в нем огромные духовные богатства, глубокие нравственные начала, которые делают русских одним из величайших исторических народов мира. Ему присуща православная вера в добро, в его победу над злом.

Содержание

#1	0006
Часть первая. Великая Россия	0007
Клеветникам России	0007
Бородинская годовщина	0010
На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году	0014
Рефутация г-на Беранжера	0021
Орлову	0024
Олегов щит	0026
Опять увенчаны мы славой...	0027
Перед гробницею святой...	0028
Наполеон	0030
Наполеон на Эльбе	0035
Стансы	0040
К морю	0041
Друзьям	0044
Отцы пустынноики и жены непорочны...	0046
Воспоминания в Царском Селе	0047
Я памятник себе воздвиг нерукотворный...	0057
Разговор книгопродавца с поэтом	0059
Пророк	0067
Поэт	0068
Поэт и толпа	0069
Часть вторая. История отчества	0072

О русской истории XVIII века (1822)	0072
Державин (1822)	0080
Второй том «Истории русского народа» Н. А. Полевого (1830)	0085
Юрий Милославский, или Русские в 1612 году (1830–1831)	0091
Возражения критикам «Полтавы» (1831–1833)	0094
Заметки о русском дворянстве (1830–1834)	0099
Карамзин (1835)	0104
Державин (1835–1836)	0109
Вечера на хуторе близ Диканьки (1836)	0118
Записки Н. А. Дуровой, издаваемые А. Пушкиным (1836)	0120
Анекдоты (1836)	0122
Александр Радищев (1836)	0127
Примечание о памятнике князю Пожарскому и гражданину Минину (1836)	0152
Часть третья. Русская идеология в художественных образах	0154
Полтава (1828–1829)	0154
Медный всадник (1833)	0213
Арап Петра Великого (1827)	0232
История села Горюхина (1830)	0294

**Александр Сергеевич
Пушкин
Россия! Встань и
возвышайся!.**

© ООО «Издательство Родина», 2023
* * *

Часть первая. Великая Россия

Клеветникам России

*О чем шумите вы, народные ви-
тии?*

*Зачем анафемой грозите вы Рос-
сии?*

*Что возмутило вас? волнения
Литвы?*

*Оставьте: это спор славян меж-
ду собою,*

*Домашний, старый спор, уж взве-
шенный судьбою,*

*Вопрос, которого не разрешите
вы.*

Уже давно между собою

Враждуют эти племена;

Не раз клонилась под грозюю

То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях, иль верный росс?

*Славянские ль ручьи сольются в
русском море?*

Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Пра-
га;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...

За что ж? ответствуйте: за то
ли,
Что на развалинах пылающей
Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами
кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах – попробуйте
на деле!
Иль старый богатырь, покойный
на постеле,

Не в силах завинтить свой изма-
ильский штык?
Иль русского царя уже бессильно
слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до
Тавриды,
От финских хладных скал до пла-
менной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

1831 г.

Бородинская годовщина

*Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.*

*И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русской штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славян кровь;
Но тяжело будет им похмелье;
Но долгод будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!*

*Ступайте ж к нам: вас Русь зо-
вет!
Но знайте, прошеные гости!*

Уж Польша вас не поведет:
Через ее шагнете кости!..»
Сбылось – и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшава;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк.

В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали,
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии,
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Еще ли росс
Больной, расслабленный колосс?
Еще ли северная слава

Пустая притча, лживый сон?
Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?

Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Вольтынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?

Ваш бурный шум и хриплый крик
Смутили ль русского владыку?
Скажите, кто главой поник?
Кому венец: мечу иль крику?
Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: всё стоит она!
А вокруг ее волненья пали —
И Польши участь решена...

Победа! сердцу сладкий час!
Россия! встань и возвышайся!

Греми, восторгов общий глас!..
Но тише, тише раздавайся
Вокруг одра, где он лежит,
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.

Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу,
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.

1831 г.

На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году

*Утихла брань племен; в пределах
отдаленных
Не слышен битвы шум и голос
труб военных;
С небесной высоты, при звуке
стройных лир,
На землю мрачную нисходит
светлый мир.
Свершилось!.. Русский царь, до-
стиг ты славной цели!
Вотще надменные на родину ле-
тели;
Вотще впреди знамен бесчислен-
ных дружив
В могущей дерзости венчанный
исполин
На гибель грозно шел, влек цепи за
собою:
Меч огненный блеснул за дымною
Москвою!
Звезда губителя потухла в вечной
мгле,
И пламенный венец померкнул на
челе!*

Сдрога счастья сын, и, брошен-
ный судьбою,
Он землю русскую не взвидел под
собою.
Бежит... и мести гром слетел
ему вослед;
И с трона гордый пал... и вновь
восстал... и нет!

Тебе, наш храбрый царь, хвала,
благодаренье!
Когда полки врагов покрыли от-
даленье,
Во броню ополчась, взложив пер-
натый шлем,
Колена преклонив пред вышним
алтарем,
Ты браней меч извлек и клятву
дал святую
От ига оградить страну свою
родную.
Мы вняли клятве сей; и гордые
сердца
В восторге пламенном летели
вслед отца
И мезтью роковой горели и дро-
жали;
И россы пред врагом твердыней

грозной стали!.,
«К мечам!» – раздался клик, и вихрем понеслись,
Знамена, восшумев, по ветру развились;
Обнялся с братом брат; и милым дали руку
Младые ратники на грустную разлуку;
Сразились. Воспылал свободы ярый бой,
И смерть хватала их холодной рукой!..
А я... вдали громов, в сени твоей надежной...
Я тихо расцветал, беспечный, безмятежный!
Увы! мне не судил таинственный предел
Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!
Сыны Бородина, о кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил.
Почто ж на бранный дол я крови

не пролил?
Почто, сжимая меч младенче-
ской рукою,
Покрытый ранами, не пал я пред
тобою
И славы под крылом наутре не по-
чил?
Почто великих дел свидетелем не
был?

О, сколь величествен, бессмерт-
ный, ты явился,
Когда на сильного с сынами
устремился;
И, челы приподняв из мрачности
гробов,
Народы, падшие под бременем
оков,
Тяжелой цепию с восторгом по-
трясали
И с робкой радостью друг друга
вопрошали:
«Ужель свободны мы?.. Ужели
грозный пал?..
Кто смелый? Кто в громах на се-
вере восстал?..»
И ветхую главу Европа преклони-
ла,

Царя-спасителя колена окружила
Освобожденною от рабских уз ру-
кой,
И власть мятежная исчезла пред
тобой!
И ныне ты к сынам, о царь наш,
возвратился,
И край полуночи восторгом оза-
рился!
Склони на свой народ смиренья
полный взгляд —
Все лица радостью, любовью бле-
стят,
Внемли – повсюду весть отрадная
несется,
Повсюду гордый клик веселья раз-
дается;
По стогнам шум, везде сияет
торжество,
И ты среди толпы, России боже-
ство!
Встречать вождя побед летят
твои дружины.
Старик, счастливый век забав
Екатерины,
Взирает на тебя с безмолвною
слезой.
Ты наш, о русский царь! оставь же

шлем стальной,
И грозный меч войны, и щит –
ограду нашу;
Излей пред Янусом священну мира
чашу,
И, брани сокрушив могущею ру-
кой,
Вселенну осени желанной тиши-
ной!..
И придут времена спокойствия
златые,
Покроет шлемы ржа, и стрелы
каленные,
В колчанах скрытые, забудут
свой полет;
Счастливый селянин, не зная бур-
ных бед,
По нивам повлечет плуг, миром
изошренный;
Суда летучие, торговлей окрилен-
ны,
Кормами рассекут свободный
океан,
И юные сыны воинственных сла-
вян
Спокойной праздности с досадой
предадутся,
И молча некогда вокруг старца со-

берутся,
Преклонят жадный слух, и вет-
хим костылем
И стан, и ратный строй, и даль-
ний бор с холмом
На прахе начертит он медленно
пред ними,
Словами истины, свободными,
простыми,
Им славу прошлых лет в расска-
зах оживит
И доброго царя в слезах благосло-
вит.

1815 г.

Рефутация г-на Беранжера

*Ты помнишь ли, ах, ваше благородье,
Мусье француз, г*венный капитан,
Как помнятся у нас в простона-
родье
Над нехристом победы россиян?
Хоть это нам не составляет
много,
Не из иных мы прочих, так ска-
зать;
Но встарь мы вас наказывали
строго,
Ты помнишь ли, скажи, е*ена
твоя мать?*

*Ты помнишь ли, как за горы Суво-
ров
Перешагнув, напал на вас врас-
плох?
Как наш старик трепал вас, жи-
водеров,
И вас давил на ноготке, как блох?
Хоть это нам не составляет
много,
Не из иных мы прочих, так ска-*

зять;
Но встарь мы вас наказывали
строго,
Ты помнишь ли, скажи, е*ена
твоя мать?

Ты помнишь ли, как всю пригнал
Европу
На нас одних ваш Бонапарт-буян?
Французов видели тогда мы мно-
гих жопу,
Да и твою, г*венный капитан!
Хоть это нам не составляет
много,
Не из иных мы прочих, так ска-
зять;
Но встарь мы вас наказывали
строго,
Ты помнишь ли, скажи, е*ена
твоя мать?

Ты помнишь ли, как царь ваш от
угара
Вдруг одурел, как бубен гол и лыс,
Как на огне московского пожара
Вы жарили московских наших
крыс?
Хоть это нам не составляет

много,
Не из иных мы прочих, так ска-
зать;
Но встарь мы вас наказывали
строго,
Ты помнишь ли, скажи, е*ена
твоя мать?

Ты помнишь ли, фальшивый пес-
нопевец,
Ты, наш мороз среди родных сне-
гов
И батарей задорный подогревец,
Солдатской штык и петлю каза-
ков?

Хоть это нам не составляет
много,
Не из иных мы прочих, так ска-
зать;
Но встарь мы вас наказывали
строго,
Ты помнишь ли, скажи, е*ена
твоя мать?

Ты помнишь ли, как были мы в
Париже,
Где наш казак иль полковой наш
поп

Морочил вас, к винцу подсев по-
ближе,
И ваших жен похваливал да *б?
Хоть это нам не составляет
много,
Не из иных мы прочих, так ска-
зать;
Но встарь мы вас наказывали
строго,
Ты помнишь ли, скажи, е*ена
твоя мать?

1827 г.

Орлову

О ты, который сочетал
С душою пылкой, откровенной
(Хотя и русский генерал)
Любезность, разум просвещен-
ный;
О ты, который, с каждым днем
Вставая на военну муку,
Усталым усачам верхом
Преподаешь царей науку;
Но не бесславишь сгоряча
Свою воинственную руку
Презренной палкой палача,

Орлов, ты прав: я забываю
Свои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля – суеты!
На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.
Смирив немирные желанья,
Без долимана, без усов,
Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов;
Над озером, в спокойной хате,
Или в траве густых лугов,
Или холма на злачном скате,
В бухарской шапке и в халате
Я буду петь моих богов
И буду ждать. Когда ж восста-
нет
С одра покоя бог мечей
И брани громкий вызов грянет,
Тогда покину мир полей;

Питомец пламенный Беллоны,
У трона верный гражданин!
Орлов, я стану под знамены
Твоих воинственных дружин;
В шатрах, среди сечи, среди пожа-
ров,
С мечом и с лирой боевой
Рубиться буду пред тобой
И славу петь твоих ударов.

1819 г.

Олегов щит

Когда ко граду Константина
С тобой, воинственный варяг,
Пришла славянская дружина
И развила победы стяг,
Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булат-
ный
На цареградских воротах.

Настали дни вражды кровавой;
Твой путь мы снова обрели.
Но днесь, когда мы вновь со сла-
вой

К Стамбулу грозно притекли,
Твой холм потрясся с бранным гу-
лом,
Твой стон ревнивый нас смутил,
И нашу рать перед Стамбулом
Твой старый щит остановил.
1829 г.

Опять увенчаны мы славой...

Опять увенчаны мы славой,
Опять кичливый враг сражен,
Решен в Арзруме спор кровавый,
В Эдырне мир провозглашен.
И дале двинулась Россия,
И юг державно облегла,
И пол-Эвксина вовлекла
В свои объятия тугие.
Восстань, о Греция, восстань.
Недаром напрягала силы,
Недаром потрясала брань
Олимп и Пинд и Фермопилы.
При пенье пламенных стихов
Тиртея, Байрона и Риги
Страна героев и богов
Расторгла рабские вериги.
Под сенью ветхой их вершин

Свобода юная возникла,
На гробах. Перикла,
На. мраморных Афин.

1829 г.

Перед гробницею святой...

*Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Все спит кругом; одни лампы
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.
Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны дер-
жавной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.
В твоём гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал – и спас...
Внемли ж и днесь наш верный*

глас,
Встань и спасай царя и нас,
О старец грозный! На мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!
Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм – в молчанье погружен,
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон...

1831 г.

Наполеон

Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек.
В неволе мрачной закатился
Наполеона грозный век.
Исчез властитель осужденный,
Могучий баловень побед,
И для изгнанника вселенной
Уже потомство настает.

О ты, чьей памятью кровавой
Мир долго, долго будет полн,
Приосенен твоею славой,
Почий среди пустынных волн...
Великолепная могила!
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почилла
И луч бессмертия горит.

Давно ль орлы твои летали
Над обесславленной землей?
Давно ли царства упали
При громах силы роковой;
Послушны воле своенравной,
Бедой шумели знамена,
И налагал ярем державный

Ты на земные племена?

Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир,
И галл десницей разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир;
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный —
Свободы яркий день вставал, —

Тогда в волненье бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел.
В свое погибельное счастье
Ты дерзкой веровал душой,
Тебя пленяло самовластье
Разочарованной красой.

И обновленного народа
Ты буйность юную смирил,
Новорожденная свобода,
Вдруг онемев, лишилась сил;
Среди рабов до упоенья
Ты жажду власти утолил,
Помчал к боям их ополченья,
Их цепи лаврами обвил.

*И Франция, добыча славы,
Плененный устремила взор,
Забыв надежды величавы,
На свой блистательный позор.
Ты вел мечи на пир обильный;
Все пало с шумом пред тобой:
Европа гибла – сон могильный
Носился над ее главой.*

*И се, в величии постыдном
Ступил на грудь ее колосс.
Тильзит!.. (при звуке сем обидном
Теперь не побледнеет росс) —
Тильзит надменного героя
Последней славою венчал,
Но скучный мир, но хлад покоя
Счастливица душу волновал.*

*Надменный! кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум?
Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как да-
ра;
Но поздно русских разгадал...*

*Россия, бранная царица,
Вспомни древние права!
Померкни, солнце Австерлица!
Пылай, великая Москва!
Настали времена другие,
Исчезни, краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война по гроб – наш договор!*

*Оцепенелыми руками
Схватив железный свой венец,
Он бездну видит пред очами,
Он гибнет, гибнет наконец.
Бежат Европы ополченья!
Окровавленные снега
Провозгласили их паденье,
И тает с ними след врага.*

*И все, как буря, закипело;
Европа свой расторгла плен;
Во след тирану полетело,
Как гром, проклятие племен.
И длань народной Немезиды
Подъяту видит великан:
И до последней все обиды
Отплачены тебе, тиран!*

Искуплены его стяжанья

И зло воинственных чудес
Тоскою душевного изгнания
Под сенью чуждою небес.
И знойный остров заточенья
Полнощный парус посетит,
И путник слово примиренья
На оном камне начертит,

Где, устремив на волны очи,
Изгнанник помнил звук мечей,
И льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей;
Где иногда, в своей пустыне
Забыв войну, потомство, трон,
Один, один о милом сыне
В унынье горьком думал он.

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала! он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

1821 г.

Наполеон на Эльбе

*Вечерняя заря в пучине догорала,
Над мрачной Эльбою носилась
тишина,
Сквозь тучи бледные тихонько
пробегала
Туманная луна;
Уже на западе седой, одетый
мглою,
С равниной синих вод сливался
небосклон.
Один во тьме ночной над дикою
скалою
Сидел Наполеон.
В уме губителя теснились мрач-
ны думы,
Он новую в мечтах Европе цепь
ковал
И, к дальним берегам возведши
взор угрюмый,
Свирепо прошептал:
«Вокруг меня все мертвым сном
почило,
Легла в туман пучина бурных
волн,
Не выплывет ни утлый в море*

челн,
Ни голодный зверь не взвоят над
могилой —
Я здесь один, мятежной думы
волн...

О, скоро ли, напенысь под рулями,
Меня помчит покорная волна
И спящих вод прервется тиши-
на?..

Волнуйся, ночь, над эльбскими
скалами!

Мрачнее тмись за тучами, луна!
Там ждут меня бесстрашные
дружины.

Уже сошлись, уже сомкнуты в
строй!

Уж мир летит в оковах предо
мною!

Прейду я к вам сквозь черные пу-
чины

И гряну вновь погибельной грозой!
И вспыхнет брань! за галльскими
орлами,

С мечом в руках победа полетит,
Кровавый ток в долинах закипит,
И троны в прах низвергну я гро-
мами

И сокрушу Европы дивный щит!..

Но вокруг меня все мертвым сном
почило,
Легла в туман пучина бурных
волн,
Не выплывет ни утлый в море
челн,
Ни гладкий зверь не взвоят над
могилой —
Я здесь один, мятежной думы
полн...
О счастье! злобный обольсти-
тель,
И ты, как сладкий сон, сокрылось
от очей,
Средь бурей тайный мой храни-
тель
И верный пестун с юных дней!
Давно ль невидимой стезею
Меня ко трону ты вело
И скрыло дерзостной рукою
В венцах лавровое чело!
Давно ли с трепетом народы
Несли мне робко дань свободы-
Знамена чести преклоня;
Дымилась грома вокруг меня,
И слава в блеске над главою
Неслась, прикрыв меня крылом?
Но туча грозная нависла над

Москвою,
И грянул мести гром!..
Полнощи царь молодой! – ты двиг-
нул ополченья,
И гибель вслед пошла кровавым
знаменам,
Отозвалось могущего паденье,
И мир земле, и радость небесам,
А мне – позор и заточенье!
И раздроблен мой звонкий щит,
Не блещет шлем на поле браней;
В прибрежном злаке меч забыт
И тускнет на тумане.
И тихо все кругом. В безмолвии
ночей
Напрасно чудится мне смерти за-
ыванье,
И стук блистающих мечей,
И падших ярое стенанье —
Лишь плещущим волнам внимает
жадный слух;
Умолк сражений клик знакомый,
Вражды кровавой гаснут громы,
И факел мщенья потух.
Но близок час! грядет минута ро-
ковая!
Уже летит ладья, где грозный
трои сокрыт;

Кругом простерта мгла густая,
И, взором гибели сверкая,
Бледнеющий мятеж на палубе си-
дит.

Страшись, о Галлия! Европа! мще-
нье, мщенье!

Рыдай – твой бич восстал – и все
падет во прах,
Все сгинет, и тогда, в всеобщем
разрушенье,

Царем воссяду на гробах!»

Умолк. На небесах лежали мрач-
ны тени,

И месяца, дальних туч покинув
темны сени,

Дрожащий, слабый свет на запад
изливал;

Восточная звезда играла в океане,
И зрелася ладья, бегущая в тумане

Под сводом эльбских грозных
скал.

И Галлия тебя, о хищник, осенила;
Побегла с трепетом законные ца-
ри.

Но зришь ли?

Гаснет день, мгновенно тьма со-
крыла

*Лицо пылающей зари,
Простерлась тишина над бездною
седою,
Мрачится неба свод, гроза во
мгле висит,
Все смолкло... трепещи! погибель
над тобою,
И жребий твой еще сокрыт!*
1815 г.

Стансы

*В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.*

*Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.*

*Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.*

*То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.*

*Семейным сходством будь же
горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неумолим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.*

1826 г.

К морю

*Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.*

*Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум
призывный
Услышал я в последний раз.*

*Моей души предел желанный!
Как часто по берегам твоим*

*Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!*

*Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!*

*Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.*

*Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтической побег!*

*Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...*

*О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне*

Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...
Там погрузались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шумы, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещение иль тиран.

*Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.*

*В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.*

1824 г.

Друзьям

*Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.*

*Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.*

*О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух держав-
ный:
Тому, кого карает явно,*

Он втайне милости творит.

Текла в изгнанье жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер – и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою?

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:

Он горе на царя назовет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный,
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный!

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

1828 г.

Отцы пустынноики и жены непорочны...

*Отцы пустынноики и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бур и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник вторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья.*

Да брат мой от меня не примет
осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
1836 г.

Воспоминания в Царском Селе

*Навис покров угрюмой ночи
На своде дремлющих небес;
В безмолвной тишине почили дол
и рощи,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий
в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший
на листьях,
И тихая луна, как лебедь велича-
вый,
Плывет в серебристых облаках.*

*С холмов кремнистых водопады
Стекают бисерной рекой,
Там в тихом озере плескаются
наяды
Его ленивою волной;
А там в безмолвии огромные чер-*

тоги,
На своды опершись, несутся к облакам.
Не здесь ли мирны дни вели земные боги?
Не се ль Минервы росской храм?

Не се ль Элизиум полнощный,
Прекрасный Царскосельский сад,
Где, льва сразив, почил орел России мощный
На лоне мира и отрад?
Промчались навсегда те времена златые,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия,
Цветя под кровом тишины!

Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет;
Возрев вокруг себя, со вздохом
росс вещает:
«Исчезло все, великой нет!»
И, в думу углублен, над злачными
брегами

Сидит в безмолвии, склоняя ветрам слух.

Протекающие лета мелькают пред очами,
И в тихом восхищенье дух.

Он видит: окружен волнами,
Над твердой, мшистою скалой
Вознесся памятник. Ширясь
крылами,

Над ним сидит орел молодой.
И цепи тяжкие и стрелы громовые

Вкруг грозного столпа трикратно обвились;

Кругом подножия, шумя, валы седые

В блестящей пене улеглись.

В тени густой угрюмых сосен
Воздвигся памятник простой.

О, сколь он для тебя, кагульский
берег, поносен!

И славен родине драгой!

Бессмертны вы вовек, о росски исполины,

В боях воспитанны средь бранных непогод!

*О вас, сподвижники, друзья Екате-
рины,
Пройдет молва из рода в род.*

*О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев
и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похи-
щали;
Их смелым подвигам страшась,
дивился мир;
Державин и Петров героям песнь
бряцали
Струнами громозвучных лир.*

*И ты промчался, незабвенный!
И вскоре новый век узрел
И брани новые, и ужасы военны;
Страдать – есть смертного удел.*

*Блеснул кровавый меч в неукроти-
мой длани
Коварством, дерзостью венчанно-
го царя;
Восстал вселенной бич – и вскоре
новой брани*

Зарделась грозная заря.

*И быстрым понеслись потоком
Враги на русские поля.
Пред ними мрачна степь лежит
во сне глубоком,
Дымится кровию земля;
И селы мирные, и грады в мгле
пылают,
И небо заревом оделось вокруг,
Леса дремучие бегущих укрывают,
И праздный в поле ржавит плуг.*

*Идут – их силе нет препоны,
Все рушат, все свергают в прах,
И тени бледные погибших чад
Беллоны,
В воздушных съединясь полках,
В могилу мрачную нисходят
непрестанно
Иль бродят по лесам в безмолвии
ночи...
Но клики раздались!.. идут в дали
туманной! —
Звучат кольчуги и мечи!..*

*Страшишься, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;*

Восстал и стар и млад; летят
на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.
Вострепещи, тиран! уж близок
час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь бо-
гатыря,
Их цель иль победить, иль пасть
в пылу сраженья
За Русь, за святость алтаря.

Ретивы кони бранью пышут,
Усеян ратниками дол,
За строем строй течет, все ме-
стью, славой дышат,
Восторг во грудь их перешел.
Летят на грозный пир; мечам до-
бычи ищут,
И се – пылает брань; на холмах
гром гремит,
В сгущенном воздухе с мечами
стрелы свищут,
И брызжет кровь на щит.

Сразились. Русский – победитель!
И вспять бежит надменный галл;
Но сильного в боях небесный все-
держитель

Лучом последним увенчал,
Не здесь его сразил воитель посе-
дельный;
О бородинские кровавые поля!
Не вы неистовству и гордости
пределы!
Увы! на башнях галл кремля!

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золо-
тые,
Не зная горести и бед,
И вы их видели, врагов моей от-
чизны!
И вас багрила кровь и пламень по-
жирал!
И в жертву не принес я мщенья
вам и жизни;
Вотще лишь гневом дух пылал!..

Где ты, краса Москвы стоголовой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся ве-
личавый,
Развалины теперь одни;
Москва, сколь русскому твой зрак
унылый страшен!

Исчезли здания вельможей и царей,
Все пламень истребил. Венцы затмились башен,
Чертоги пали богачей.

И там, где роскошь обитала
В тенистых рощах и садах,
Где мирт благоухал и липа трепетала,
Там ныне угли, пепел, прах.
В часы безмолвные прекрасной,
летней ночи
Веселье шумное туда не полетит,
Не блещут уж в огнях брега
и светлы рощи:
Все мертво, все молчит.

Утешься, мать градов России,
Воззри на гибель пришлеца.
Отяготела днесь на их надменные
выи
Десница мстящая творца.

Взгляни: они бегут, озреться
не дерзают,
Их кровь не престаёт в снегах реками
течь;

Бегут – и в тьме ночной их глад
и смерть сретают,
А с тыла гонит русский меч.

О вы, которых трепетали
Европы сильны племена,
О галлы хищные! и вы в могилы
пали.
О страх! о грозны времена!
Где ты, любимый сын и счастья
и Беллоны,
Презревший правды глас, и веру,
и закон,
В гордыне возмечтав мечом низ-
вергнуть троны?
Исчез, как утром страшный сон!

В Париже росс! – где факел мще-
нья?
Поникни, Галлия, главой.
Но что я вижу? Росс с улыбкой
примиренья
Грядет с оливою златой.
Еще военный гром грохочет в от-
даленье,
Москва в унынии, как степь в пол-
нощной мгле,
А он – несет врагу не гибель,

но спасенье
И благотворный мир земле.

О скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный
строй,
В кругу товарищей, с душой вос-
пламененной,
Греми на арфе золотой!

Да снова стройный глас героям
в честь прольется,
И струны гордые посыплют огонь
в сердца,
И ратник молодой вскипит и со-
дрогнется
При звуках бранного певца.

1814 г.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный...

*Я памятник себе воздвиг неруко-
творный,
К нему не зарастет народная
тропа,
Вознесся выше он главою непокор-
ной
Александрийского столпа.*

*Нет, весь я не умру – душа в за-
ветной лире
Мой прах переживет и тленья
убежит —
И славен буду я, доколь в подлун-
ном мире
Жив будет хоть один пиит.*

*Слух обо мне пройдет по всей Руси
великой,
И назовет меня всяк сущий в ней
язык,
И гордый внук славян, и финн,
и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.*

И долго буду тем любезен я наро-
ду,
Что чувства добрые я лирой про-
буждал,
Что в мой жестокий век воссла-
вил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божью, о муза, будь по-
слушна,
Обиды не страшась, не требуя
венца,
Хвалу и клевету приемли равно-
душно
И не оспаривай глупца.

1836 г.

Разговор книгопродавца с поэтом

Книгопродавец
Стишки для вас одна забава,
Немножко стоит вам присесть,
Уж разгласить успела слава
Везде приятнейшую весть:
Поэма, говорят, готова,
Плод новый умственных затей.
Итак, решите; жду я слова:
Назначьте сами цену ей.
Стишки любимца муз и граций
Мы вмиг рублями заменим
И в пук наличных ассигнаций
Листочки ваши обратим...
О чем вздохнули так глубоко?
Нельзя ль узнать?

Поэт
Я был далеко:
Я время то воспоминал,
Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы.
Я видел вновь приюты скал
И темный кров уединенья,
Где я на пир воображенья,

Бывало, музу призывал.
Там слаще голос мой звучал;
Там доле яркие виденья,
С неизъяснимою красой,
Вились, летали надо мной
В часы ночного вдохновенья!..
Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буй-
ный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шопот речки тихоструйной.
Тогда, в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов

*С толпою пламенным восторгом,
И музы сладостных даров
Не унижал постыдным торгом;
Я был хранитель их скупой:
Так точно, в гордости немой,
От взоров черни лицемерной
Дары любовницы молодой
Хранит любовник суеверный.*

*Книгопродавец
Но слава заменила вам
Мечтанья тайного отрады:
Вы разошлись по рукам,
Меж тем как пыльные громады
Лежалой прозы и стихов
Напрасно ждут себе чтецов
И ветреной ее награды.*

*Поэт
Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувство воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт
И, терном славы не увитый,
Презренной чернию забытый,
Без имени покинул свет!
Обманчивей и снов надежды,*

Что слава? шепот ли чтеца?
Гоненье ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?

Книгопродавец
Лорд Байрон был того же мненья;
Жуковский то же говорил;
Но свет узнал и раскупил
Их сладкозвучные творенья.
И впрям, завиден ваш удел:
Поэт казнит, поэт венчает;
Злодеев громом вечных стрел
В потомстве дальном поражает;
Героев утешает он;
С Коринной на киферский трон
Свою любовницу возносит.
Хвала для вас докучный звон;
Но сердце женщин славы просит:
Для них пишите; их ушам
Приятна лесть Анакреона:
В молодые лета розы нам
Дороже лавров Геликона.

Поэт
Самолюбивые мечты,
Утехи юности безумной!
И я, средь бури жизни шумной,
Искал вниманья красоты.

Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои...
Но полно! в жертву им свободы
Мечтатель уж не принесет;
Пускай их юноша поет,
Любезный баловень природы.
Что мне до них? Теперь в глуши
Безмолвно жизнь моя несется;
Стон лиры верной не коснется
Их легкой, ветреной души;
Не чисто в них воображенье:
Не понимает нас оно,
И, признак бога, вдохновенье
Для них и чуждо и смешно.
Когда на память мне неволью
Придет внушенный ими стих,
Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.
К чему, несчастный, я стремил-
ся?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?..

Книгопродавец
Люблю ваш гнев. Таков поэт!

Причины ваших огорчений
Мне знать нельзя; но исключений
Для милых дам ужели нет?
Ужели ни одна не стоит
Ни вдохновенья, ни страстей,
И ваших песен не присвоит
Всесильной красоте своей?
Молчите вы?

Поэт
Зачем поэту
Тревожить сердца тяжкий сон?
Бесплодно память мучит он.
И что ж? какое дело свету?
Я всем чуждой!.. душа моя
Хранит ли образ незабвенный?
Любви блаженство знал ли я?
Тоскою ль долгой изнуренный,
Таил я слезы в тишине?
Где та была, которой очи,
Как небо, улыбались мне?
Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?

И что ж? Докучный стон любви,
Слова покажутся мои
Безумца диким лепетаньем.
Там сердце их поймет одно,
И то с печальным содроганьем:

Судьбою так уж решено.
Ах, мысль о той души завялой
Могла бы юность оживить
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить!..
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви!
Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земных восторгов излианья,
Как божеству, не нужно ей!..

Книгопродавец
Итак, любовью утомленный,
Наскуча лепетом молвы,
Заране отказались вы
От вашей лиры вдохновенной.
Теперь, оставя шумный свет,
И муз, и ветреную моду,
Что ж изберете вы?

Поэт
Свободу.

Книгопродавец

Прекрасно. Вот же вам совет;
Внемлите истине полезной:
Наш век – торгош; в сей век же-
лезный
Без денег и свободы нет.
Что слава? – Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца!
Предвижу ваше возраженье;
Но вас я знаю, господа:
Вам ваше дорого творенье,
Пока на пламени труда
Кипит, бурлит воображенье;
Оно застынет, и тогда
Постыло вам и сочиненье.
Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
Что ж медлить? уж ко мне захо-
дят
Нетерпеливые чтецы;
Вкруг лавки журналисты бродят,
За ними тощие певцы:
Кто просит пищи для сатиры,
Кто для души, кто для пера;
И признаюсь – от вашей лиры
Предвижу много я добра.

Поэт
Вы совершенно правы. Вот вам
моя рукопись. Условимся.

1824 г.

Пророк

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещице зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

*И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь,
и взнемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».*

1826 г.

Поэт

*Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.*

*Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,*

*Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...*

1827 г.

Поэт и толпа

Procul este, profani[1].

*Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел – а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.
И толковала чернь тупая:
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?»*

Как ветер, песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?»

Поэт

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерз-
кий,
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы все – на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. так
что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.

Чернь

Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный послан-
ник,
Во благо нам употребляй:
Сердца братьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;

Гнездятся клубом в нас пороки.
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы слушаем тебя.

Поэт
Подите прочь – какое дело
Поэту мирному до вас!
В развороте каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры; —
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор, – полезный труд!

Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

1828 г.

Часть вторая. История отчества

О русской истории XVIII века (1822)

По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали. Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр. Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножались; иностранцы, в то время столь нужные, пользовались прежними правами; схоластический педантизм по-прежнему приносил свою не приметную пользу. Отечественные таланты стали изредка появляться и щедро были награждаемы. Ничтожные

наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе[2].

Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более чем Наполеон[3].

Аристократия после его неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастью, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б число дворян и

заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы. Памятниками неудачного борения аристократии с деспотизмом остались только два указа Петра III-го о вольности дворян, указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливее должны были бы стыдиться.

Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветли-

вость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Много было званых и много избранных; но в длинном списке ее любимцев, обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории. Он разделит с Екатериною часть воинской ее славы, ибо ему обязаны мы Черным морем и блестящими, хоть и бесплодными, победами в северной Турции[4].

Униженная Швеция и уничтоженная Польша, вот великие права Екатерины на благодарность русского народа. Но со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиною кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической эконо-

номии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия – и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России.

Мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства. В этом деле ревностно помогали ей любимцы. Стоит напомнить о пощечинах, щедро ими раздаваемых нашим князьям и боярам, о славной расписке Потемкина, хранимой доньше в одном из присутственных мест государства[5], об обезьяне графа Зубова, о кофейнике князя Кутузова и проч. и проч.

Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные таковою слабостию, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностию пользовались кратким его царствованием. Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста всё крало и всё было продажно. Таким образом

развратная государыня развратила свое государство.

Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку – а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского[6] в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами – и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность.

Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и неве-

жество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должно-стью. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии; ибо напрасно почитают русских суеверными: может быть, нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек на счет всего церковного. Жаль! ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер.

В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей историей, следственно и просвещением. Екатерина знала

всё это и имела свои виды.

Современные иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмерными похвалами; очень естественно; они знали ее только по переписке с Вольтером и по рассказам тех именно, коим она позволяла путешествовать.

Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие; «Наказ» ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами и Траянами, но, перечитывая сей лицемерный «Наказ», нельзя воздержаться от праведного негодования. Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и в короне, он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна.

Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции: En Russie le gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation[7].

2 августа 1822 г.

Датированы в рукописи 2 августа 1822 г. и писаны в Кишиневе. По-видимому, представляют собой историческое введение в те автобиографические записки, которые Пушкин сжег после 1825 г. Эта часть сохранилась потому, что рукопись находилась у Н. С. Алексеева, которому Пушкин передал ее еще в Кишиневе.

Державин (1822)

С дерев валится желтый лист,
Не слышно птиц в лесу угрюмом,
В полях осенних ветров свист,
И плещут волны в берег с шумом.
Над Хутынским монастырем
Приметно солнце догорало,
И на главах златым лучом,
Из туч прокравшись, трепетало.
Какой-то думой омрачен,
Младый певец бродил в ограде;
Но вдруг остановился он,
И заблестал огонь во взгляде:
«Что вижу я?.. на сих берегах, —
Он рек, — для севера священный
Державина ль почитет прах

В обители уединенной?»
И засияли, как росой,
Слезами юноши ресницы,
И он с удвоенной тоской
Сел у подножия гробницы;
И долго молча он сидел,
И, мрачную тревожим думой,
Певец задумчивый глядел
На грустный памятник угрюмо.
Но вдруг, восторженный, вещал:
«Что я напрасно здесь тоскую?
Наш дивный бард не умирал:
Он пел и славил Русь святую!
Он выше всех на свете благ
Общественное благо ставил
И в огненных своих стихах
Святую добродетель славил.
Он долг певца постиг вполне,
Он свить горел венок нетленной,
И был в родной своей стране
Органом истины священной.
Везде певец народных благ,
Везде гонимых оборона
И зла непримиримый враг,
Он так твердил любимцам тро-
на:
«Вельможу должны составлять
Ум здравый, сердце просвещенно!

Собой пример он должен дать,
Что звание его священно;
Что он орудье власти есть,
Всех царственных подпора зданий;
Должны быть польза, слава,
честь
Вся мысль его, цель слов, деяний»
О, так! нет выше ничего
Предназначения поэта:
Святая правда – долг его,
Предмет – полезным быть для
света.
Служитель избранный творца,
Не должен быть ничем он связан;
Святой, высокий сан певца
Он делом оправдать обязан.
Ему неведом низкий страх;
На смерть с презрением взирает
И доблесть в молодых сердцах
Стихом правдивым зажигает.
Над ним кто будет властелин? —
Он добродетель свято ценит
И ей нигде, как верный сын,
И в думах тайных не изменит.
Таков наш бард Державин был, —
Всю жизнь он вел борьбу с поро-
ком;
Судьям ли правду говорил,

Он так гремел с святым пророком:

«Ваш долг на сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять
И свято сохранять законы.
Ваш долг несчастным дать покров,
Всегда спасать от бед невинных,
Исторгнуть бедных из оков,
От сильных защищать бессильных».

Певцу ли ожидать стыда
В суде грядущих поколений?
Не осквернит он никогда
Порочной мыслию творений.
Повсюду правды верный жрец,
Томяся жаждой чистой славы,
Не станет портить он сердец
И развращать народа нравы.
Поклонник пламенный добра,
Ничем себя не опорочит
И освященного пера —
В нечестьи буйном не омочит.
Творцу ли гимн святой звучит
Его восторженная лира —
Словами он, как гром, гремит,
И вторят гимн народы мира.

О, как удел певца высок!
Кто в мире с ним судьбою равен?
Откажет ли и самый рок
Тебе в бессмертии, Державин?
Ты прав, певец: ты будешь жить,
Ты памятник воздвигнул вечный,

Его не могут сокрушить
Ни гром, ни вихорь быстротеч-
ный» {*}.

Певец умолк – и тихо встал;
В нем сердце билось, и в волненьи,
Вздохнув, он, отходя, вещал
В каком-то дивном исступленьи:
«О, пусть не буду в гимнах я,
Как наш Державин, дивен, громок,

Лишь только б молвил про меня
Мой образованный потомок:
«Парил он мыслию в веках,
Седую вызывая древность,
И воспалял в младых сердцах
К общественному благу рев-
ность!»»

1822 г.

Второй том «Истории русского народа» Н. А. Полевого (1830)

1

Противуречия и промахи, указанные в разных журналах, доказывают, конечно, не невежество г. Полевого (ибо сих обмолвок можно было избежать, дав себе время подумать или справиться), но токмо непростительную опрометчивость и поспешность. Презрение, с каковым г-н Полевой отзывался в своих примечаниях о Карамзине, издеваясь над его трудом, оскорбляло нравственное чувство уважения нашего к великому соотечественнику. Но сия опрометчивость и необдуманность сильно повредили г. Полевому во мнении малого числа просвещенных и благоумных читателей, ибо они поколебали, если не вовсе уничтожили, доверенность, которую обязан он был им внушить. Теперь мы читаем «Историю русского народа», не полагаясь на добросовестность труда и верность разысканий – но на каждое слово невольно требуем подтверждения постоянного, если не

имеем терпения или способов справляться сами. «История русского народа» состоит из отдельных отрывков, часто не имеющих между собою связи по духу, в коем они писаны, и походит более на разные журнальные статьи, чем на книгу, обдуманную одним человеком и проникнутую единством духа.

Несмотря на сии недостатки «История русского народа» заслуживала внимания по многим остроумным замечаниям (NB. Остроумием называем мы не шуточки, столь любезные нашим веселым критикам, но способность сближать понятия и выводить из них новые и правильные заключения), по своей живости, хоть и неправильной, по взгляду и по воззрению недальнему и часто неверному, но вообще новому и достойному критических исследований.

Второй том, ныне вышедший из печати, имеет, по нашему мнению, большое преимущество перед первым.

1) В нем нет сбивчивого предисловия и гораздо менее противуречий и многоречия.

2) Тон нападения на Карамзина уже гораздо благопристойнее.

3) Самый рассказ не есть уже пародия рассказа Карамзина, но нечто собственно принадлежащее г. Полевому.

II том начинается взглядом на всеобщее состояние Европы в XI столетии.

2

Г-н Полевой предчувствует присутствие истины, но не умеет ее отыскать и вьется около.

Он видит, что Россия была совершенно отделена от Западной Европы. Он предчувствует тому и причину, но вскоре желание приновить систему новейших историков и к России увлекает его. — Он видит опять и феодализм (называет его семейственным феодализмом) и в сем феодализме средство задушить феодализм же, полагает его необходимым для развития сил юной России. Дело в том, что в России не было еще феодализма, как пэры Карла не суть еще бароны феодальные, а были уделы, князья и их дружина; что Россия не окрепла и не развилась вовремя княжеских драк (как энергически назвал Карамзин удельные междоусобия), но, напротив, ослабла и сделалась легкою добычею татар;

что аристократия не есть феодализм, и что аристократия, а не феодализм, никогда не существовавший, ожидает русского историка. Объяснимся.

Феодализм частность.

Аристократия общность.

Феодализма в России не было. Одна фамилия, варяжская, властвовала независимо, добываясь великого княжества.

Феодальное семейство одно (vassaux).

Бояре жили в городах при дворе княжеском, не укрепляя своих поместий, не сосредоточиваясь в малом семействе, не враждуя противу королей, не продавая своей помощи городам. Но они были вместе, придворные товарищи об их правах заботились, составили союз, считались старшинством, крамольничали.

Великие князья не имели нужды соединяться с народом, дабы их усмирить.

Аристократия стала могущественна. Иван Васильевич III держал ее в руках при себе. Иван IV казнил. В междоусобице она возросла до высшей степени. Она была наследственная – отселе местничество, на которое до сих

пор привыкли смотреть самым детским образом. Не Феодор, но Языков, то есть меньшее дворянство уничтожило местничество и боярство, принимая сие слово не в смысле придворного чина, но в смысле аристокрации.

Феодализма у нас не было, и тем хуже.

3

История древняя кончилась богочеловеком, говорит г-н Полевой. Справедливо. Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сейто священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы! Зачем же г-н Полевой за несколько страниц выше повторил пристрастное мнение 18-го столетия и признал концом древней истории падение Западной Римской империи – как будто самое распадение оной на Восточную и Западную не есть уже конец Рима и ветхой системы его?

Гизо объяснил одно из событий христианской истории: европейское просвещение. Он обретает его зародыш, описывает постепен-

ное развитие и, отклоняя все отдаленное, все постороннее, случайное, доводит его до нас сквозь темные, кровавые, мятежные и, наконец, рассветающие века. Вы поняли великое достоинство французского историка. Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада. Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения. Один из остроумнейших людей XVIII столетия предсказал Камеру французских депутатов и могущественное развитие России, но никто не предсказал ни Наполеона, ни Полиньяка.

Юрий Милославский, или Русские в 1612 году (1830–1831)

Соч. М. Н. Загоскина. – М. в типогр. Н. Степанова, 1829. – 3 части, с виньетками на заглавных листах (в I-й части 255, во II-й 166, в III-й 263 стр. в 12 д. л.).

В наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании. Вальтер Скотт увлек за собою целую толпу подражателей. Но как они все далеки от шотландского чародея! подобно ученику Агриппы, они, вызвав демона старинны, не умели им управлять и сделались жертвами своей дерзости. В век, в который хотяют они перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений. Под беретом, осененным перьями, узнаете вы голову, причесанную вашим парикмахером; сквозь кружевную фрезу à la Henri IV проглядывает крахмаленный галстух нынешнего dandy[8]. Готические героини воспитаны у Madame Campan, а государственные люди XVI-

го столетия читают «Times» и «Journal des débats». Сколько несообразностей, ненужных мелочей, важных упущений! сколько изысканности! а сверх всего, как мало жизни! Однако ж сии бледные произведения читаются в Европе. Потому ли, что люди, как утверждала Madame de Staël, знают только историю своего времени и, следовательно, не в состоянии заметить нелепости романических анахронизмов? потому ли, что изображение старины, даже слабое и неверное, имеет неизъяснимую прелесть для воображения, притупленного однообразной пестротой настоящего, ежедневного?

Спешим заметить, что упреки сии вовсе не касаются «Юрия Милославского». Г-н Загоскин точно переносит нас в 1612 год. Добрый наш народ, бояре, козаки, монахи, буйные шиши – все это угадано, все это действует, чувствует как должно было действовать, чувствовать в смутные времена Минина и Авраамия Палицына. Как живы, как занимательны сцены старинной русской жизни! сколько истины и добродушной веселости в изображении характеров Кирши, Алексея Бурнаша,

Федьки Хомяка, пана Копычинского, батьки Еремея! Романическое происшествие без насилия входит в раму обширнейшую происшествия исторического. Автор не спешит своим рассказом, останавливается на подробностях, заглядывает и в сторону, но никогда не утомляет внимания читателя. Разговор (живой, драматический везде, где он простонароден) обличает мастера своего дела. Но неоспоримое дарование г. Загоскина заметно изменяет ему, когда он приближается к лицам историческим. Речь Минина на нижегородской площади слаба: в ней нет порывов народного красноречия. Боярская дума изображена холодно. Можно заметить два-три легких анахронизма и некоторые погрешности противу языка и костюма. Например, новейшее выражение: столбовой дворянин употреблено в смысле человека знатного рода (мужа честна, как говорят летописцы); охотиться вместо: ездить на охоту; пользоваться вместо лечить. Эти два последние выражения не простонародные, как, видно, полагает автор, но просто принадлежат языку дурного общества. Быть в ответе значило в старину: быть в посольстве.

Некоторые пословицы употреблены автором не в их первобытном смысле: из сказки слова не выкинешь вместо из песни. В песне слова составляют стих, и слова не выкинешь, не испортив склада; сказка – дело другое. Но сии мелкие погрешности и другие, замеченные в 1 № «Московского вестника» нынешнего года [9], не могут повредить блистательному, вполне заслуженному успеху «Юрия Милославского».

Возражения критикам «Полтавы» (1831–1833)

Нabent sua fata libelli[10]. «Полтава» не имела успеха. Вероятно, она и не стоила его; но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведениям; к тому ж это сочинение совсем оригинальное, а мы из того и бьемся.

Наши критики взялись объяснить мне причину моей неудачи – и вот каким образом.

Они, во-первых, объявили мне, что отроду никто не видывал, чтоб женщина влюбилась в старика, и что следственно любовь Марии к

старому гетману (NB: исторически доказанная) не могла существовать.

Ну что ж, что ты Честон? Хоть знаю, да не верю.

Я не мог довольствоваться этим объяснением: любовь есть самая своенравная страсть. Не говорю уже о безобразии и глупости, ежедневно предпочитаемых молодости, уму и красоте. Вспомните предания мифологические, превращения Овидиевы, Леду, Филиру, Пазифаю, Пигмалиона – и признайтесь, что все сии вымыслы не чужды поэзии. А Отелло, старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах? А Мирра, внушившая итальянскому поэту одну из лучших его трагедий?..

Мария (или Матрена) увлечена была, говорили мне, тщеславием, а не любовью: велика честь для дочери генерального судии быть наложницею гетмана! Далее говорили мне, что мой Мазепа злой и глупый старичишка. Что изобразил я Мазепу злым, в том я каюсь: добрым я его не нахожу, особливо в ту минуту, когда он хлопочет о казни отца девушки, им обольщенной. Глупость же человека ока-

зывается или из его действий, или из его слов: Мазепа действует в моей поэме точь-в-точь как и в истории, а речи его объясняют его исторический характер. Заметили мне, что Мазепа слишком у меня злопамятен, что малороссийский гетман не студент и за пощечину или за дерганье усов мстить не захочет. Опять история, опроверженная литературной критикой, – опять хоть знаю, да не верю! Мазепа, воспитанный в Европе в то время, как понятия о дворянской чести были на высшей степени силы, – Мазепа мог помнить долго обиду московского царя и отомстить ему при случае. В этой черте весь его характер, скрытый, жестокий, постоянный. Дернуть ляха или казака за усы все равно было, что схватить россиянина за бороду. Хмельницкий за все обиды, претерпенные им, помнится, от Чаплицкого, получил в возмездие, по приговору Речи Посполитой, остриженный ус своего неприятеля (см. Летопись Кониского).

Старый гетман, предвидя неудачу, наедине с наперсником бранит в моей поэме молодого Карла и называет его, помнится, мальчишкой и сумасбродом: критики важно укоряли меня

В неосновательном мнении о шведском короле. У меня сказано где-то, что Мазепа ни к кому не был привязан: критики ссылались на собственные слова гетмана, уверяющего Марию, что он любит ее больше славы, больше власти. Как отвечать на таковые критики?

Слова усы, визжать, вставай, Мазепа, ого, пора – показались критикам низкими, бурлацкими выражениями. Как быть!

В «Вестнике Европы» заметили, что заглавие поэмы ошибочно и что, вероятно, не назвал я ее Мазепой, чтоб не напомнить о Байроне. Справедливо, но была тут и другая причина: эпиграф. Так и «Бахчисарайский фонтан» в рукописи назван был Харемом, но меланхолический эпиграф (который, конечно, лучше всей поэмы) соблазнил меня.

Кстати о «Полтаве» критики упомянули, однако ж, о Байроновом «Мазепе»; но как они понимали его! Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой «Истории Карла XII». Он поражен был только картиной человека, привязанного к дикой лошади и несущегося по степям. Картина конечно, поэтическая, и за то посмотрите, что он из нее сделал. Но не ищи-

те тут ни Мазепы, ни Карла, ни сего мрачного, ненавистного, мучительного лица, которое проявляется во всех почти произведениях Байрона, но которого (на беду одному из моих критиков), как нарочно в «Мазепе» именно и нет. Байрон и не думал о нем: он выставил ряд картин одна другой разительнее – вот и все; но какое пламенное создание! какая широкая, быстрая кисть! Если ж бы ему под перо попала история оболыщенной дочери и казненного отца, то, вероятно, никто бы не осмелился после него коснуться сего ужасного предмета.

Заметки о русском дворянстве (1830–1834)

1

Attentat de Феодор – Lâcheté delà haute noblesse (между прочим и моего пращура Никиты Пушкина).

Pierre I – son Указ de 1714. Les rangs – chute de la noblesse – opposition de Dolgorouky (niaise, dans le genre de celle des Panine).

Pierre III – истинная причина дворянской грамоты. Екатерина – Alexandre – Новосильцев, Чарторижский – Кочубей. Spéransky, porovitch turbulent et ignare.

Les moyens avec lesquels on accomplit une révolution, ne sont plus ceux qui la consolident. – Pierre I est tout à la fois Robespierre et Napoléon (La Révolution incarnée.)

La haute-noblesse n'étant pas héréditaire (de fait) elle est donc noblesse à vie; moyen d'entourer le despotisme de stipendiaires dévoués et d'étouffer toute opposition et toute indépendance.

L'hérédité de haute-noblesse est une garantie

de son indépendance – le contraire est nécessairement moyen de tyrannie, ou plutôt d'un despotisme lâche et mou. Despotisme: lois cruelles, coutumes douces.

Перевод

Покушение Феодора... – Трусость высшего дворянства... – Петр I. Его указ 1714 г. – Чины. – Падение дворянства. Оппозиция Долгоруких (нелепая, вроде оппозиции Панина). Петр III... – Александр... – Сперанский, притканный и безвестный попович.

Средства, которыми достигается революция, недостаточны для ее закрепления. – Петр I – одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение революции).

Высшее дворянство не потомственное (фактически). Следовательно, оно пожизненное; деспотизм окружает себя преданными наемниками, и этим подавляется всякая оппозиция и независимость.

Потомственность высшего дворянства есть гарантия его независимости; обратное неизбежно связано с тиранией или, вернее, с низким и дряблым деспотизмом. Деспотизм; же-

стокие законы и мягкие нравы. (Франц.)

2

Что такое дворянство? потомственное сословие народа высшее, т. е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. Кем? народом или его представителями. С какою целию? с целию иметь мощных защитников или близких ко властям и непосредственных предстателей. Какие люди составляют сие сословие? люди, которые имеют время заниматься чужими делами. Кто сии люди? люди, отменные по своему богатству или образу жизни. Почему так? богатство доставляет ему способ не трудиться, а быть всегда готову по первому призыву *du souverain*. (государя. (Франц.)) Образ жизни, т. е. не ремесленный или земледельческий – ибо всё сие налагает на работника или земледела различные узы. Почему так? земледelec зависит от земли, им обработанной, и более всех неволен, ремесленник от числа требователей торговых, от мастеров и покупателей. Нужно ли для дворянства приуготовительное воспитание? Нужно. Чему учится дворянство? Независимости.

мости, храбрости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии качества природные? Так; но образ жизни может их развить, усилить – или задушить. Нужны ли они в народе, так же как, например, трудолюбие? Нужны, ибо они *la sauve garde* (охрана, (Франц.)) трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества.

Кто составляет дворянство в республиках? Богатые люди, которыми народ кормится.

А в государствах? Военные люди, которые составляют гвардию и войско государево.

Чем кончится дворянство в республиках? Аристократическим правлением. А в государствах? Рабством народа. $a=b$.

Что составило в России древнюю аристократию? – Варяги, богатые военные славяне и воинственные пришельцы. Какие были права их? Равные княжеским, ибо они были малые князья, имели свои дружины и переходили от одного государя к другому. Отчего г. Полевой говорит, что они были наравне со смердами? Не знаю. Но самое молчание летописцев о их правах показывает, что права сии были ничем не ограничены. Какое время силы наше-

го боярства? Во время уделов, удельные князья, соделавшись сами боярами. Когда пало боярство? При Иоаннах, которые к одному местничеству не дерзнули прикоснуться. Были ли дворянские грамоты?.. (Минин). Было ли зло местничество? натурально ли оно? везде ли существовало оно? зачем уничтожено было оно? и было ли оно в самом деле уничтожено? Петр. Уничтожение дворянства чинами. Майоратства – уничтоженные плутовством Анны Ивановны. Падение постепенное дворянства; что из того следует? восшествие Екатерины II, 14 декабря и т. д.

3

Русское дворянство что ныне значит? какими способами делается дворянин? что из этого следует? Глубокое презрение к сему званию. Дворянин помещик. Его влияние и важность – рекрутство. Права. Дворянин в службе – дворянин в деревне. Происхождение дворянства. Дворянин при дворе.

(1830–1835)

Примечания

При жизни Пушкина не печаталось. Напи-

сано в 30-е годы.

Карамзин (1835)

..... Печатью вольномыслия. Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною. Я занемог гнилою горячкой. Лейтон за меня не отвечал. Семья моя была в отчаянье; но через шесть недель я выздоровел. Сия болезнь оставила во мне впечатление приятное. Друзья навещали меня довольно часто; их разговоры сокращали скучные вечера. Чувство выздоровления — одно из самых сладостных. Помню нетерпение, с которым ожидал я весны, хоть это время года обыкновенно наводит на меня тоску и даже вредит моему здоровью. Но душный воздух и закрытые окна так мне надоели во время болезни моей, что весна являлась моему воображению со всею поэтической своей прелестью. Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов «Русской истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постеле с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатле-

ние, 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) – пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. Когда, по моем выздоровлении, я снова явился в свет, толки были во всей силе. Признаюсь, они были в состоянии отучить всякого от охоты к славе. Ничего не могу вообразить глупей светских суждений, которые удалось мне слышать насчет духа и слова «Истории» Карамзина. Одна дама, впрочем весьма почтенная, при мне, открыв вторую часть, прочла вслух: «„Владимир усыновил Святополка, однако не любил его... «Однако!.. Зачем не но? Однако! Как это глупо! чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина? Однако!» – В журналах его не критиковали. Каченовский бросился на одно предисловие.

У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина – зато никто не

сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Ноты «Русской истории» свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению. – Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал «Историю» свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностию историка, он везде ссылался на источники – чего же более требовать было от него? Повторяю, что «История государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека.

Некоторые из людей светских письменно критиковали Карамзина. Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие!.. Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале «Истории» не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, т. е. требовал романа в истории – ново и смело! Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие спасительной пользы самодержавия, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностью, – конечно, были очень смешны. Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни.

...Кстати, замечательная черта. Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе». Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменялся. Скоро Карамзи-

ну стало совестно, и, прощаясь со мною, как обыкновенно, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности: «Вы сегодня сказали на меня то, чего ни Шихматов, ни Кутузов на меня не говорили». В течение шестилетнего знакомства только в этом случае упомянул он при мне о своих неприятелях, против которых не имел он, кажется, никакой злобы; не говорю уж о Шишкове, которого он просто любил. Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались...

Державин (1835–1836)

Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельви́г вышел на лестницу, чтоб дожидаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельви́г услышал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельви́га, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Дельви́г это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы: портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблестали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его сти-

хи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом...

Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, и хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...

«Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю»

*(Письмо П. Я. Чаадаеву 19 октября 1836 г.
Из Петербурга в Москву)*

Je vous remercie de la brochure que vous m'avez envoyée. J'ai été charmé de la relire, quoique très étonné de la voir traduite et imprimée. Je suis content de la traduction: elle a conservé de l'énergie et du laisser-aller de l'original. Quant aux idées, vous savez que je suis

loin d'être tout à fait de votre avis. Il n'y a pas de doute que le schisme nous a séparé du reste de l'Europe et que nous n'avons pas participé, à aucun des grands évènements qui l'ont remuée; mais nous avons eu notre mission à nous. C'est la Russie, c'est son immense étendue qui a absorbé la conquête Mogole. Les tartares n'ont pas osé franchir nos frontières occidentales et nous laisser à dos. Ils se sont retirés vers leurs déserts, et la civilisation chrétienne a été sauvée. Pour cette fin, nous avons dû avoir une existence tout-à-fait à part, qui en nous laissant chrétiens, nous laissait cependant tout-à-fait étrangers au monde chrétien, en sorte que notre martyre ne donnait aucune distraction à l'énergique développement de l'Europe catholique. Vous dites que la source où nous sommes allé puiser le christianisme était impure, que Byzance était méprisante et méprisée etc. – hé, mon ami! Jésus Christ lui-même n'était-il pas né juif et Jérusalem n'était-elle pas la fable des nations? L'évangile en est-il moins admirable? Nous avons pris des Grecs l'évangile et les traditions, et non l'esprit de puérilité et de controverse. Les moeurs de Byzance n'ont jamais été celles de Kiov. Le clergé

russe, jusqu'à Théophile, a été respectable, il ne s'est jamais soulié des infamies du papisme et certes n'aurait jamais provoqué la réformation, au moment où l'humanité avait le plus besoin d'unité. Je conviens que notre clergé actuel est en retard. En voulez-vous savoir la raison? c'est qu'il est barbu; voilà tout. Il n'est pas de bonne compagnie. Quant à notre nullité historique, décidément je ne puis être de votre avis. Les guerres d'Oleg et de Sviatoslav, et même les guerres d'apanage n'est-ce pas cette vie d'effervescence aventureuse et d'activité âpre et sans but qui caractérise la jeunesse de tous les peuples? l'invasion des tartares est un triste et grand tableau. Le réveil de la Russie, le développement de sa puissance, sa marche vers l'unité (unité russe bien entendu), les deux Ivan, le drame sublime commencé à Ouglitch et terminé au monastère d'Ipatief – quoi? tout cela ne serait pas de l'histoire, mais un rêve pâle et à demi-oublié? Et Pierre le Grand qui à lui seul est une histoire universelle! Et Catherine II qui a placé la Russie sur le seuil de l'Europe? et Alexandre qui vous a mené à Paris? et (la main sur le cœur) ne trouvez-vous pas quelque chose

d'imposant dans la situation actuelle de la Russie, quelque chose qui frappera le futur historien? Croyez vous qu'il nous mettra hors l'Europe? Quoique personnellement attaché de coeur à l'empereur, je suis loin d'admirer tout ce que je vois autour de moi; comme homme de lettre, je suis aigri; comme homme à préjugés, je suis froissé – mais je vous jure sur mon honneur, que pour rien au monde je n'aurais voulu changer de patrie, ni avoir d'autre histoire que celle de nos ancêtres, telle que Dieu nous l'a donnée.

Voici une bien longue lettre. Après vous avoir contredit il faut bien que je vous dise que beaucoup de choses dans votre épître sont profondément vraies. Il faut bien avouer que notre existence sociale est une triste chose. Que cette absence d'opinion publique, cette indifférence pour tout ce qui est devoir, justice et vérité, ce mépris cynique pour la pensée et la dignité de l'homme, sont une chose vraiment désolante. Vous avez bien fait de le dire tout haut. Mais je crains que vos opinions historiques ne vous fassent du tort... enfin je suis fâché de ne pas m'être trouvé près de vous lorsque vous avez livré votre manuscrit aux journalistes. Je ne vais

nulle part, et ne puis vous dire si l'article fait effet. J'espère qu'on ne le fera pas mousser. Avez-vous lu le 3-me № du «Современник»? L'article Voltaire et John Tanner sont de moi. Козловский serait ma providence s'il voulait une bonne fois devenir homme de lettre. Adieu, mon ami. Si vous voyez Orlof et Rayewsky dites leurs bien des choses. Que disent-ils de votre lettre, eux qui sont si médiocrement chrétiens?

Перевод

Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали. Я с удовольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом: в нем сохранена энергия и непринужденность подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели пе-

рейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духо-

венство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично

я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал.

Вышло предлинное письмо. Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили... Наконец мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам. Я нигде не бываю и не могу вам сказать, производит ли статья впечатление. Надеюсь, что ее не будут раздувать.

Читали ли вы 3-й № «Современника»? Статья «Вольтер» и «Джон Теннер» – мои, Козловский стал бы моим провидением, если бы захотел раз навсегда сделаться литератором. Прощайте, мой друг. Если увидите Орлова и Раевского, передайте им поклон. Что говорят они о вашем письме, они, столь посредственные христиане?>

Вечера на хуторе близ Диканьки (1836)

Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком. Издание второе. Две части, в 8 д. л. XIV, 203 и X, 233, в тип. Департамента Внешн. торговли.

Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними появлением «Вечеров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина! Мы так

были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, предоставляя сии недостатки на поживу критики. Автор оправдал такое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал «Арабески», где находится его «Невский проспект», самое полное из его произведений. Вслед за тем явился «Миргород», где с жадностью все прочли и «Старосветских помещиков», эту шутивную, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и «Тараса Бульбу», коего начало достойно Вальтер Скотта. Г-н Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале[11] [журнал «Современник» – прим. ред.].

Записки Н. А. Дуровой, издаваемые А. Пушкиным (1836)

Modo vir, modo foemina.
Ov.[12]

В 1808 году молодой мальчик, по имени Александров, вступил рядовым в Конно-Польский уланский полк, отличился, получил за храбрость солдатский георгиевский крест и в том же году произведен был в офицеры в Мариупольский гусарский полк. Впоследствии перешел он в Литовский уланский и продолжал свою службу столь же ревностно, как и начал.

По-видимому, все это в порядке вещей и довольно обыкновенно; однако ж это самое наделало много шума, породило много толков и произвело сильное впечатление от одного нечаянно открывшегося обстоятельства: корнет Александров был девица Надежда Дурова.

Какие причины заставили молодую девушку, хорошей дворянской фамилии, оставить отеческий дом, отречься от своего пола,

принять на себя труды и обязанности, которые пугают и мужчин, и явиться на поле сражений – и каких еще? Наполеоновских! Что побудило ее? Тайные семейные огорчения? Воспаленное воображение? Врожденная, неукротимая склонность? Любовь?.. Вот вопросы, ныне забытые, но которые в то время сильно занимали общество.

Ныне Н. А. Дурова сама разрешает свою тайну. Удостоенные ее доверенности, мы будем издателями ее любопытных записок. С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным. Надежда Андреевна позволила нам украсить страницы «Современника» отрывками из журнала, веденного ею в 1812–13 году. С глубочайшей благодарностию спешим воспользоваться ее позволением.

Издатель.

Анекдоты (1836)

I

На Потемкина часто находила хандра. Он по целым суткам сидел один, никого к себе не пуская, в совершенном бездействии. Однажды, когда был он в таком состоянии, множество накопилось бумаг, требовавших немедленного его разрешения; но никто не смел к нему войти с докладом. Молодой чиновник, по имени Петушков, подслушав толки, вызвался представить нужные бумаги князю для подписи. Ему поручили их с охотою и с нетерпением ожидали, что из этого будет. Петушков с бумагами вошел прямо в кабинет. Потемкин сидел в халате, босой, нечесаный, грызя ногти в задумчивости. Петушков смело объяснил ему, в чем дело, и положил перед ним бумаги. Потемкин молча взял перо и подписал их одну за другою.

Петушков поклонился и вышел в переднюю с торжествующим лицом: «Подписал!..» Все к нему кинулись, глядят: все бумаги в самом деле подписаны. Петушкова поздравляют: «Молодец! нечего сказать». Но кто-то

всматривается в подпись – и что же? на всех бумагах вместо: князь Потемкин – подписано: Петушков, Петушков, Петушков...

II

Надменный в сношениях своих с вельможами, Потемкин был снисходителен к низшим. Однажды ночью он проснулся и начал звонить. Никто не шел. Потемкин соскочил с постели, отворил дверь и увидел ординарца своего, спящего в креслах. Потемкин сбросил с себя туфли и босой прошел в переднюю тихонько, чтоб не разбудить молодого офицера.

III

Молодой Ш. как-то напроказил. Князь Б. собирался пожаловаться на него самой государыне. Родня перепугалась. Кинулись к князю Потемкину, прося его заступиться за молодого человека. Потемкин велел Ш. быть на другой день у него и прибавил: «Да сказать ему, чтоб он со мною был посмелее». Ш. явился в назначенное время. Потемкин вышел из кабинета в обыкновенном своем наряде, не сказал никому ни слова и сел играть в карты. В это время приезжает князь Б. Потемкин принимает его как нельзя хуже и продолжает

играть. Вдруг он подзывает к себе Ш. «Скажи, брат, – говорит Потемкин, показывая ему свои карты, – как мне тут сыграть?» – «Да мне какое дело, ваша светлость, – отвечает ему Ш., – играйте, как умеете!» – «Ах, мой батюшка, – возразил Потемкин, – и слова нельзя тебе сказать; уж и рассердился!» Услыша такой разговор, князь Б. раздумал жаловаться.

IV

Граф Румянцев однажды рано утром расхаживал по своему лагерю. Какой-то майор в шлафроке и в колпаке стоял перед своею палаткою и в утренней темноте не узнал приближающегося фельдмаршала, пока не увидел его перед собою лицом к лицу. Майор хотел было скрыться, но Румянцев взял его под руку и, делая ему разные вопросы, повел с собою по лагерю, который между тем проснулся. Бедный майор был в отчаянии. Фельдмаршал, разгуливая таким образом, возвратился в свою ставку, где уже вся свита ожидала его. Майор, умирая со стыда, очутился посреди генералов, одетых по всей форме. Румянцев, тем еще недовольный, имел жестокость напоить его чаем и потом уже отпустил, не сделав

никакого замечания.

V

Некто, отставной мичман, будучи еще ребенком, представлен был Петру I в числе дворян, присланных на службу. Государь открыл ему лоб, взглянул в лицо и сказал: «Ну, этот плох! Однако записать его во флот. До мичманов авось дослужится». Старик любил рассказывать этот анекдот и всегда прибавлял: «Таков был пророк, что и в мичманы-то попал я только при отставке!»

VI

Всем известны слова Петра Великого, когда представили ему двенадцатилетнего школьника Василья Тредьяковского: вечный труженик! Какой взгляд! какая точность в определении! В самом деле, что был Тредьяковский, как не вечный труженик?

VII

Граф Самойлов получил Георгия на шею в чине полковника. Однажды во дворце государыня заметила его, заслоненного толпою генералов и придворных. «Граф Александр Николаевич, – сказала она ему, – ваше место здесь впереди, как и на войне».

VIII

Государыня (Екатерина II) говаривала: «Когда хочу заняться каким-нибудь новым установлением, я приказываю порыться в архивах и отыскать, не говорено ли было уже о том при Петре Великом, – и почти всегда открывается, что предполагаемое дело было уже им обдуманно».

IX

Петр I говаривал: «Несчастия бояться – счастья не видать».

X

Любимый из племянников князя Потемкина был покойный Н. Н. Раевский. Потемкин для него написал несколько наставлений; Н. Н. их потерял и помнил только первые строки: во-первых, старайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем.

XI

Когда родился Иоанн Антонович, то императрица Анна Иоанновна послала к Эйлеру приказание составить гороскоп новорожденному. Эйлер сначала отказывался, но при-

нужден был повиноваться. Он занялся гороскопом вместе с другим академиком. Они составили его по всем правилам астрологии, хоть и не верили ей. Заключение, выведенное ими, испугало обоих математиков – и они послали императрице другой гороскоп, в котором предсказывали новорожденному всякие благополучия. Эйлер сохранил, однако ж, первый и показывал его графу К. Г. Разумовскому, когда судьба несчастного Иоанна Антоновича совершилась.

Александр Радищев (1836)

*Il ne faut pas qu'un honnête homme mérite
d'être pendu[13]
Слова Карамзина в 1819 г.*

В конце первого десятилетия царствования Екатерины II несколько молодых людей, едва вышедших из отрочества, отправлены были, по ее повелению, в Лейпцигский университет, под надзором одного наставника и в сопровождении духовника. Учение пошло им не впрок. Надзиратель думал только о своих выгодах; духовник, монах добродушный,

но необразованный, не имел никакого влияния на их ум и нравственность. Молодые люди проказничали и вольнодумствовали. Они возвратились в Россию, где служба и заботы семейственные заменили для них лекции Геллерта и студенческие шалости. Большая часть из них исчезла, не оставя по себе следов; двое сделались известны: один на чреде заметной обнаружил совершенное бессилие и несчастную посредственность; другой прославился совсем иначе.

Александр Радищев родился около 1750-го года. Он обучался сперва в Пажеском корпусе и обратил на себя внимание начальства как молодой человек, подающий о себе великие надежды. Университетская жизнь принесла ему мало пользы. Он не взял даже на себя труда выучиться порядочно латинскому и немецкому языку, дабы по крайней мере быть в состоянии понимать своих профессоров. Беспокойное любопытство, более нежели жажда познаний, была отличительная черта ума его. Он был кроток и задумчив. Тесная связь с молодым Ушаковым имела на всю его жизнь влияние решительное и глубокое.

Ушаков был немногим старше Радищева, но имел опытность светского человека. Он уже служил секретарем при тайном советнике Теплове, и его честолюбию открыто было блестящее поприще, как оставил он службу из любви к познаниям и вместе с молодыми студентами отправился в Лейпциг. Сходство умов и занятий сблизили с ним Радищева. Им попался в руки Гельвеций. Они жадно изучили начала его пошлой и бесплодной метафизики. Гримм, странствующий агент французской философии, в Лейпциге застал русских студентов за книгою «О Разуме» и привез Гельвецию известие, лестное для его тщеславия и радостное для всей братии. Теперь было бы для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей, пылких и чувствительных, если бы мы, по несчастию, не знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями. Нам уже слишком известна французская философия 18-го столетия; она рассмотрена со всех сторон и оценена. То, что некогда слыло скрытным учением гиеро-

фантов, было потом обнародовано, проповедано на площадях и навек утратило прелесть таинственности и новизны. Другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими.

Радищев написал «Житие Ф. В. Ушакова». Из этого отрывка видно, что Ушаков был от природы остроумен, красноречив и имел дар привлекать к себе сердца. Он умер на 21-м году своего возраста от следствий невоздержанной жизни; но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врачами на смерть, он равнодушно услышал свой приговор; вскоре муки его сделались нестерпимы, и он потребовал яду от одного из своих товарищей[14]. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений.

Возвратясь в Петербург, Радищев вступил

в гражданскую службу, не преставая между тем заниматься и словесностию. Он женился. Состояние его было для него достаточно. В обществе он был уважаем как сочинитель. Граф Воронцов ему покровительствовал. Государыня знала его лично и определила в собственную свою канцелярию. Следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был достигнуть одной из первых степеней государственных. Но судьба готовила ему иное.

В то время существовали в России люди, известные под именем мартинистов. Мы еще застали несколько стариков, принадлежавших этому полуполитическому, полурелигиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и философического вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко отличали их от поколения, которому они принадлежали. Люди, находившие свою выгоду в коварном злословии, старались представить мартинистов заговорщиками и приписывали им преступные политические виды. Императрица, долго смотревшая на усилия французских философов как на игры искусных бой-

цов и сама их ободрявшая своим царским рукоплесканием, с беспокойством видела их торжество и с подозрением обратила внимание на русских мартинистов, которых считала проповедниками безначалия и адептами энциклопедистов. Нельзя отрицать, чтобы многие из них не принадлежали к числу недовольных; но их недоброжелательство ограничивалось брюзгливым порицанием настоящего, невинными надеждами на будущее и двусмысленными тостами на франмасонских ужинах. Радищев попал в их общество. Тайнственность их бесед воспламенила его воображение. Он написал свое «Путешествие из Петербурга в Москву», сатирическое воззвание к возмущению, напечатал в домашней типографии и спокойно пустил его в продажу.

Если мысленно перенесемся мы к 1791 году, если вспомним тогдашние политические обстоятельства, если представим себе силу нашего правительства, наши законы, не изменившиеся со времен Петра I, их строгость, в то время еще не смягченную двадцатипятилетним царствованием Александра, само-

держца, умевшего уважать человечество; если подумаем, какие суровые люди окружали еще престол Екатерины, – то преступление Радищева покажется нам действием сумасшедшего. Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины! И заметьте: заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей; член тайного общества, в случае неудачи, или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха – а какого успеха может он ожидать? – он один отвечает за все, он один представляется жертвой закону. Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственной книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающе-

гося конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестью.

Но, может быть, сам Радищев не понял всей важности своих безумных заблуждений. Как иначе объяснить его беспечность и странную мысль разослать свою книгу ко всем знакомым, между прочими к Державину, которого поставил он в затруднительное положение? Как бы то ни было, книга его, сначала не замеченная, вероятно потому, что первые страницы чрезвычайно скучны и утомительны, вскоре произвела шум. Она дошла до государыни. Екатерина сильно была поражена. Несколько дней сряду читала она эти горькие, возмутительные сатиры. «Он мартирист, – говорила она Храповицкому (см. его записки), – он хуже Пугачева; он хвалит Франклина». – Слово глубоко замечательное: монархиня, стремившаяся к соединению воедино всех разнородных частей государства, не могла равнодушно видеть отторжение колоний от владычества Англии. Радищев предан был суду. Сенат осудил его на смерть (см. Полное собрание законов). Государыня смягчила

приговор. Преступника лишили чинов и дворянства и в оковах сослали в Сибирь.

В Илимске Радищев предался мирным литературным занятиям. Здесь написал он большую часть своих сочинений; многие из них относятся к статистике Сибири, к китайской торговле и пр. Сохранилась его переписка с одним из тогдашних вельмож, который, может быть, не вовсе был чужд изданию «Путешествия». Радищев был тогда вдовцом. К нему поехала его свояченица, дабы разделить с изгнанником грустное его уединение. Он в одном из своих стихотворений упоминает о сем трогательном обстоятельстве.

*Воздохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной,
Садясь в лодки, устремлялся
В ту страну ужасну, хладну,
В ту страну, где я средь бедствий,
Но на лоне жаркой дружбы,
Был блажен, и где оставил
Души нежной половину*

«Бова», Вступление.

Император Павел I, взошед на престол, вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чи-

ны и дворянство, обошелся с ним милостиво и взял с него обещание не писать ничего противного духу правительства. Радищев сдержал свое слово. Он во все время царствования императора Павла I не написал ни одной строчки. Он жил в Петербурге, удаленный от дел и занимаясь воспитанием своих детей. Смиранный опытностью и годами, он даже переменял образ мыслей, ознаменовавший его бурную и кичливую молодость. Он не питал в сердце своем никакой злобы к прошедшему и помирился искренно со славной памятью великой царицы.

Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом иль с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и молоджавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время Ужаса? Мог ли

он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедаемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра.

Император Александр, вступив на престол, вспомнил о Радищеве и, извиняя в нем то, что можно было приписать пылкости молодых лет и заблуждениям века, увидел в сочинителе «Путешествия» отвращение от многих злоупотреблений и некоторые благонамеренные виды. Он определил Радищева в комиссию составления законов и приказал ему изложить свои мысли касательно некоторых гражданских постановлений. Бедный Радищев, увлеченный предметом, некогда близким к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям. Граф З. удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?» В

этих словах Радищев увидел угрозу. Огорченный и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, об лейпцигском студенте, подавшем ему некогда первую мысль о самоубийстве, и... отравился. Конец, им давно предвиденный и который он сам себе напроорочил!

Сочинения Радищева в стихах и прозе (кроме «Путешествия») изданы были в 1807 году. Самое пространное из его сочинений есть философическое рассуждение «О Человеке, о его смертности и бессмертии». Умствования оно пошло и не оживлены слогом. Радищев хотя и вооружается противу материализма, но в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма. Между статьями литературными замечательно его суждение о Тилемахиде и о Тредьяковском, которого он любил по тому же самому чувству, которое заставило его бранить Ломоносова: из отвращения от общепринятых мнений. В стихах лучшее произведение его есть «Осьмнадцатый век», лирическое стихотворение, писанное древним элегическим размером, где нахо-

дятся следующие стихи, столь замечательные под его пером.

*Урна времян часы изливает каплям подобно,
Капли в ручьи собрались; в реки ручьи возросли,
И на дальнейшем берегу изливают пенистые волны
Вечности в море, а там нет ни предел, ни берегов.
Не возвышался там остров, ни дна там лот не находит;
Веки в него протекли, в нем исчезает их след,
Но знаменито вовеки своею кровавой струею
С звуками грома течет наше столетье туда,
И сокрушен наконец корабль, надежды несущий,
Пристани близок уже, в водоворот поглощен.
Счастье и добродетель и вольность пожрал омут ярый,
Зри, всплывают еще страшны обломки в струе.
Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро,*

*Будешь проклято во век, в век
удивлением всех,
Крови в твоей колыбели, припева-
ние громаы сраженьев.
Ах, омочено в крови, ты ниспада-
ешь во гроб.
Но зри, две вознеслися скалы во
среде струй кровавых,
Екатерина и Петр, вечности ча-
да! и росс.*

Первая песнь «Бовы» имеет также достоинство. Характер Бовы обрисован оригинально, и разговор его с Каргою забавен. Жаль, что в «Бове», как и в «Алеше Поповиче», другой его поэме, не включенной, не знаем почему, в собрание его сочинений, нет и тени народности, необходимой в творениях такого рода; но Радищев думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал. Вообще Радищев писал лучше стихами, нежели прозою. В ней не имел он образца, а Ломоносов, Херасков, Державин и Костров успели уже обработать наш стихотворный язык.

«Путешествие в Москву», причина его несчастья и славы, есть, как уже мы сказали, очень посредственное произведение, не гово-

ря даже о варварском слоге. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и проч. преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвердить суждение наше множеством выписок. Но читателю стоит открыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине нами сказанного.

В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналья; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему, – вот что мы видим в Радищеве. Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть

господ как явное беззаконие; не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян; он злится на цензуру; не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы с одной стороны сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы, а с другой – чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной? Но все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы – чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью. Какую цель имел Радищев? чего именно желал он? На сии вопросы вряд ли бы мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ни-

чтожно. Все прочли его книгу и забыли ее, несмотря на то, что в ней есть несколько благородных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви.

3 апреля 1836 г. СПб.

Прибавления

I.

От императрицы главнокомандовавшему в Санкт-Петербурге генерал-аншефу Брюсу

Граф Яков Александрович!

Недавно издана здесь книга под названием: «Путешествие из Петербурга в Москву», наполненная самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко власти уважение, стремящимися к тому, чтоб произвести в на-

роде негодование противу начальников и начальства, наконец оскорбительными выражениями противу сана и власти царской. Сочинителем сей книги оказался коллежский советник Александр Радищев, который сам учинил в том признание, присовокупив к сему, что после цензуры Управы Благочиния взнес он многие листы в помянутую книгу, в собственной его типографии напечатанную, и потому взят под стражу. Таковое его преступление повелеваем рассмотреть и судить законным порядком в Палате Уголовного Суда Санкт-Петербургской губернии, где, заключа приговор, взнести оный в Сенат наш.

Пребываем вам благосклонны.

Екатерина.

II.

26-го июня. Говорили (государыня) о книге «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Тут рассеяние заразы французской: автор мартирист. Я прочла тридцать страниц». Посылала за Рылеевым (обер-полицмейстером). Открывается подозрение на Радищева.

2 июля. Продолжает писать примечания

на книгу Радищева. А он, сказывают, препоручен Шешковскому и сидит в крепости.

7 июля. «Примечания на книгу Радищева послать к Шешковскому». Сказать изволили, что он бунтовщик, хуже Пугачева, показав мне, что в конце хвалит Франклина и себя таким же представляет. Говорили с жаром и чувствительностью.

11 августа. Доклад о Радищеве с приметною чувствительностью приказано рассмотреть в Совете, «чтоб не быть пристрастною, и объявить, чтоб не уважали до меня касающиеся, понеже я презираю».

(Записки Храповицкого.)

III.

Клин

«Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам князь...» Поющий сию народную песню, называемую Алексеем божииим человеком, был слепой старик, сидящий у ворот почтового двора, окруженный толпою по большей части ребят и юношей. Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице его зримого, заставляли взираю-

щих на певца предстоять ему со благоговением. Неискусный хотя его напев, но нежностью изречения сопровождаемый, проник в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взрощенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда клинский певец, дошед до разлуки своего ироя, едва прерывающимся ежемгновенно гласом изрекал свое повествование. Место, на коем были его очи, исполнилось иступающих из чувствительной от бед души слез, и потоки оных пролилися по ланитам воспевającego. О природа, колико ты властительна! Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; со уст юности отлетела спутница ее улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид восприял важности. О! природа, возопил я паки...

Сколь сладко незвительное чувствование

скорби! Колико сердце оно обновляет и оно
чувствительность. Я рыдал вслед за ямским
собранием, и слезы мои были столь же для
меня сладостны, как исторгнутые из сердца
Вертером... О мой друг, мой друг! почто и ты
не зрел сея картины? ты бы прослезился со
мною и сладость взаимного чувствования бы-
ла бы гораздо усладительнее.

По окончании песнословия все предстоя-
щие давали старику, как будто бы награду за
его труд. Он принимал все денежки и полуш-
ки, все куски и краюхи хлеба довольно равно-
душно; но всегда сопровождая благодарность
свою поклоном, крестясь и говоря к подающе-
му: «Дай бог тебе здоровья». Я не хотел отъе-
хать, не быв сопровождаем молитвою сего ко-
нечно приятного небу старца. Желал его бла-
гословения на совершение пути и желания
моего. Казалось мне, да и всегда сие мечтаю,
как будто соблагословение чувствительных
душ облегчает стезю в шествии и отъемлет
терние сомнительности. Подошед к нему, я в
дрожащую его руку толико же дрожащею от
боязни, не тщеславия ли ради то делаю, поло-
жил ему рубль. Перекрестясь, не успел он из-

реши обыкновенного своего благословения подающему, отвлечен от того необыкновенностию ощущения лежащего в его горсти. И сие уязвило мое сердце. Колико приятнее ему, вещал я сам себе, подаваемая ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям соболезнование человечества, в моем рубле ощущает, может быть, мою гордость. Он не сопровождает его своим благословением. О! колико мал я сам себе тогда казался, колико завидовал давшим полушку и краюшку хлеба певшему старцу! – Не пятак ли? – сказал он, обращая речь свою неопределенно, как и всякое свое слово. – Нет, дедушка, рублевик, – сказал близ стоящий его мальчик. – Почто такая милостыня? – сказал слепой, опуская места своих очей и ища, казалось, мысленно вообразить себе то, что в горсти его лежало. – Почто она не могущему ею пользоваться. Если бы я не лишен был зрения, сколь бы велика моя была за него благодарность. Не имея в нем нужды, я мог бы снабдить им неимущего! Ах! если бы он был у меня после бывшего здесь пожара, умолк бы хотя на одни сутки вопль алчущих птенцов моего соседа. Но на

что он мне теперь? не вижу, куда его и положить; подаст он, может быть, случай к преступлению. Полушку не много прибыли украсть, но за рублем охотно многие протянут руку. Возьми его назад, добрый господин, и ты и я с твоим рублем можем сделать вора. — О истина! колик ты тяжка чувствительному сердцу, когда ты бываешь в укоризну. — Возьми его назад, мне, право, он ненадобен, да и я уже его не стою; ибо не служил изображенному на нем государю. Угодно было создателю, чтобы еще в бодрых моих летах лишен я был вождей моих. Терпеливо сношу его прощение. За грехи мои он меня посетил... Я был воин; на многих бывал битвах с неприятелями отечества; сражался всегда неробко. Но воину всегда должно быть по нужде. Ярость исполняла всегда мое сердце при начатии сражения; я не щадил никогда у ног моих лежащего неприятеля и просящего, безоруженному помилования не дарил. Вознесенный победою оружия нашего, когда устремлялся на карание и добычу, пал я ниц, лишенный зрения и чувств пролетевшим мимо очей, в силе своей, пушечным ядром. О! вы, последующие

мне, будьте мужественны, но помните человечество. – Возвратил он мне мой рубль и сел опять на место свое покойно.

– Прими свой праздничный пирог, дедушка, – говорила слепому подошедшая женщина лет пятидесяти. – С каким восторгом он принял его обеими руками. – Вот истинное благодеяние, вот истинная милостыня. Тридцать лет сряду ем я сей пирог по праздникам и по воскресеньям. Не забыла ты своего обещания, что ты сделала во младенчестве своем. И стоит ли то, что я сделал для покойного твоего отца, чтобы ты до гроба моего меня не забывала? Я, друзья мои, избавил отца ее от обыкновенных нередко побой крестьянам от проходящих солдат. Солдаты хотели что-то у него отнять, он с ними заспорил. Дело было за гумнами. Солдаты начали мужика бить; я был сержантом той роты, которой были солдаты, прилучился тут; прибежал на крик мужика и его избавил от побой; может быть, чего и больше, но вперед отгадывать нельзя. Вот, что вспомнила кормилица моя нынешняя, когда увидела меня здесь в нищенском состоянии. Вот, чего не позабывает она каждый

день и каждый праздник. Дело мое было невеликое, но доброе. А доброе приятно господу; за ним никогда ничто не пропадает.

– Неужели ты меня столько пред всеми обидишь, старичок, – сказал я ему, – и одно мое отвергнешь подаяние? Неужели моя милостыня есть милостыня грешника? Да и та бывает ему на пользу, если служит к умягчению его ожесточенного сердца. – Ты огорчаешь давно уже огорченное сердце естественною казнию, – говорил старец; – не ведал я, что мог тебя обидеть, не приемля на вред послужить могущего подаяния; прости мне мой грех, но дай мне, коли хочешь мне что дать, дай, что может мне быть полезно... Холодная у нас была весна, у меня болело горло – платчишка не было чем повязать шеи – бог помиловал, болезнь миновалась... Нет ли старенького у тебя платка? Когда у меня заболит горло, я его повяжу; он мою согреет шею; горло болеть перестанет; я тебя вспоминать буду, если тебе нужно воспоминание нищего. – Я снял платок с моей шеи, повязал на шею слепого... И расстался с ним.

Возвращаясь через Клин, я уже не нашел

слепого певца. Он за три дня моего приезда умер. Но платок мой, сказывала мне та, которая ему приносила пирог по праздникам, надел, заболев, перед смертью на шею, и с ним положили его во гроб. О! если кто чувствует цену сего платка, тот чувствует и то, что во мне происходило, слушав сие.

Вот каким слогом написана вся книга!

Примечание о памятнике князю Пожарскому и гражданину Минину (1836)

Надпись Гражданину Минину, конечно, не удовлетворительна: он для нас или мещанин Косма Минин по прозванию Сухорукой, или думный дворянин Косма Минич Сухорукой, или, наконец, Кузьма Минин, выборный человек от всего Московского государства, как назван он в грамоте о избрании Михаила Федоровича Романова. Все это не худо было бы знать, также как имя и отчество князя Пожарского. Кстати, недавно в одной исторической статье сказано было, что Минину дали дворянство и боярство, но что спесивые вель-

можи не допустили его в думу и принудили в 1617 году удалиться в Нижний-Новгород. – Сколько несообразностей! Минин никогда не бывал боярином; он в думе заседал, как думный дворянин; в 1616 их было всего два: он и Гаврила Пушкин. Они получали по 300 р. окладу. О годе его смерти нет нигде никакого известия; полагают, что Минин умер в Нижнем-Новегороде, потому что он там похоронен и что в последний раз упомянуто о нем в списке дворцовым чиnam в 1616.

Издатель.

Часть третья. Русская идеология в художественных образах

Полтава (1828–1829)

*Тебе – но голос музы тёмной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?
Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.
Богат и славен Кочубей.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.*

Кругом Полтавы хутора
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мехов, атласа, серебра
И на виду и под замками.
Но Кочубей богат и горд
Не долгогривыми конями,
Не золотом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами,
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.
И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной.
Она свежа, как вешний цвет,
Взлелеянный в тени дубравной.
Как тополь киевских высот,
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья.
Как пена, грудь ее бела.
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Звездой блестят ее глаза;
Ее уста, как роза, рдеют.
Но не единая краса
(Мгновенный цвет!) молвою шум-
ной

В молодой Марии почтена:
Везде прославилась она
Девушкой скромной и разумной.
За то завидных женихов
Ей шлет Украина и Россия;
Но от венца, как от оков,
Бежит пугливая Мария.
Всем женихам отказ – и вот
За ней сам гетман сватов шлет.
Он стар. Он удручен годами,
Войной, заботами, трудами;
Но чувства в нем кипят, и вновь
Мазепа ведаёт любовь.
Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нём любовь
Проходит и приходит вновь,
В нём чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылаёт сердце старика,
Окаменелое годами.
Упорно, медленно оно
В огне страстей раскалено;
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет.
Не серна под утес уходит,
Орла послыша тяжкой лёт;

Одна в сених невеста бродит,
Трепещет и решенья ждет.
И вся полна негодованьем
К ней мать идет и, с содроганьем
Схватив ей руку, говорит:
«Бесстыдный! старец нечестивый!
Возможно ль?.. нет, пока мы живы,
Нет! он греха не совершит.
Он, должный быть отцом и другом
Невинной крестницы своей...
Безумец! на закате дней
Он вздумал быть ее супругом».
Мария вздрогнула. Лицо
Покрыла бледность гробовая,
И охладев как неживая
Упала дева на крыльцо.
Она опомнилась, но снова
Закрыла очи – и ни слова
Не говорит. Отец и мать
Ей сердце ищут успокоить,
Боязнь и горесть разогнать,
Тревогу смутных дум устроить...
Напрасно. Целые два дня,
То молча плача, то стеная,
Мария не пила, не ела,

Шатаясь, бледная как тень,
Не зная сна. На третий день
Ее светлица опустела.
Никто не знал, когда и как
Она сокрылась. Лишь рыбак
Той ночью слышал конской то-
пот,
Казачью речь и женской шопот,
И утром след осьми подков
Был виден на росе лугов.
Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и старца строгой вид,
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты
Влагают страстные мечты.
И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:
Она забыла стыд и честь,
Она в объятиях злодея!
Какой позор! Отец и мать
Молву не смеют понимать.
Тогда лишь истина явилась
С своей ужасной наготой.
Тогда лишь только объяснилась
Душа преступницы молодой.
Тогда лишь только стало явно,
Зачем бежала своенравно

Она семейственных оков,
Томилась тайно, вздыхала
И на приветы женихов
Молчаньем гордым отвечала;
Зачем так тихо за столом
Она лишь гетману внимала,
Когда беседа ликовала
И чаша пенилась вином;
Зачем она всегда певала
Те песни, кои он слагал,
Когда он беден был и мал,
Когда молва его не знала;
Зачем с неженскою душой
Она любила конный строй,
И бранный звон литавр и клики
Пред бунчуком и булавой
Малороссийского владыки....
Богат и знатен Кочубей.
Довольно у него друзей.
Свою омыть он может славу.
Он может возмутить Полтаву;
Внезапно среди его дворца
Он может мщением отца
Постигнуть гордого злодея;
Он может верною рукой
Вонзить... но замысел иной
Волнует сердце Кочубея.
Была та смутная пора,

Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель; не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведской паладин.
Но в искушеньях долгой кары
Перетерпел судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкой млат,
Дробя стекло, кует булат.
Венчаный славой бесполезной,
Отважный Карл скользил над без-
дной.

Он шел на древнюю Москву,
Взметая русские дружины,
Как вихорь гонит прах долины
И клонит пыльную траву.
Он шел путем, где след оставил
В дни наши новый, сильный враг,
Когда падением ославил
Муж рока свой попятный шаг.
Украина глухо волновалась,
Давно в ней искра разгоралась.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,

И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.
Вокруг Мазепы раздавался
Мятежный крик: пора, пора!
Но старый гетман оставался
Послушным подданным Петра.
Храня суровость обычайну,
Спокойно ведал он Украйну,
Молве, казалось, не внимал
И равнодушно пировал.
«Что ж гетман? – юноши твер-
дили,
Он изнемог; он слишком стар;
Труды и годы угасили
В нем прежний, деятельный жар.
Зачем дрожащею рукою
Еще он носит булаву?
Теперь бы грянуть нам войною
На ненавистную Москву!
Когда бы старый Дорошенко,
Иль Самойлович молодой,
Иль наш Палей, иль Гордеенко
Владели силой войсковою;
Тогда б в снегах чужбины дальней
Не погибали казаки,
И Малороссии печальной
Освобождались уж полки».
Так, своеволием пылая,

Роптала юность удалая,
Опасных алча перемен,
Забыв отчизны давний плен,
Богдана счастливые споры,
Святые брани, договоры
И славу дедовских времен.
Но старость ходит осторожно
И подозрительно глядит.
Чего нельзя и что возможно,
Еще не вдруг она решит.
Кто снидет в глубину морскую,
Покрытую недвижно льдом?
Кто испытующим умом
Проникнет бездну роковую
Души коварной? Думы в ней,
Плоды подавленных страстей,
Лежат погружены глубоко,
И замысел давнишних дней,
Быть может, зреет одиноко.
Как знать? Но чем Мазепа злей,
Чем сердце в нем хитрей и лож-
ней,
Тем с виду он неосторожней
И в обхождении простей.
Как он умеет самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужие тайны разрешать!

С какой доверчивостью лживой,
Как добродушно на пирах
Со старцами старик болтливый
Жалеет он о прошлых днях,
Свободу славит с своевольным,
Поносит власти с недовольным,
С ожесточенным слезы льет,
С глупцом разумну речь ведет!
Не многим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды
С тех пор как жив не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить как во-
ду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.
Издавна умысел ужасный
Взлелеял тайно злой старик
В душе своей. Но взор опасный,
Враждебный взор его проник.

«Нет, дерзкий хищник, нет, губитель! —

Скрежеща мыслит Кочубей, —
Я пощажу твою обитель,

Темницу дочери моей;

Ты не истлеешь средь пожара,

Ты не издохнешь от удара

Казачей сабли. Нет, злодей,

В руках московских палачей,

В крови, при тщетных отрицаньях,

На дыбе, корчась в истязаньях,

Ты проклянешь и день и час,

Когда ты дочь крестил у нас,

И пир, на коем чести чашу

Тебе я полну наливал,

И ночь, когда голубку нашу

Ты, старый коршун, заклевал!..»

Так! было время: с Кочубеем

Был друг Мазепа; в оны дни

Как солью, хлебом и елеем,

Делились чувствами они.

Их кони по полям победы

Скакали рядом сквозь огни;

Нередко долгие беседы

Наедине вели они —

Пред Кочубеем гетман скрытный

Души мятежной ненасытной

Отчасти бездну открывал
И о грядущих измененьях,
Переговорах, возмущеньях
В речах неясных намекал.
Так, было сердце Кочубея
В то время предано ему.
Но в горькой злобе свирепея,
Теперь позыву одному
Оно послушно; он голубит
Едину мысль и день и ночь:
Иль сам погибнет, иль погубит —
Отмстит поруганную дочь.
Но предприимчивую злобу
Он крепко в сердце затаил.
«В бессильной горести, ко гробу
Теперь он мысли устремил.
Он зла Мазепе не желает;
Всему виновна дочь одна.
Но он и дочери прощает:
Пусть богу даст ответ она,
Покрыв семью свою позором,
Забыв и небо и закон....»
А между тем орлиным взором
В кругу домашнем ищет он
Себе товарищей отважных,
Неколебимых, непродажных.
Во всем открылся он жене:
Давно в глубокой тишине

Уже донос он грозный копит,
И гнева женского полна
Нетерпеливая жена
Супруга злобного торопит.
В тиши ночей, на ложе сна,
Как некой дух, ему она
О мщеньи шепчет, укоряет,
И слезы льет, и ободряет,
И клятвы требует – и ей
Клянется мрачный Кочубей.
Удар обдуман. С Кочубеем
Бесстрашный Искра заодно.
И оба мыслят: «Одолеем;
Врага паденье решено.
Но кто ж, усердьем пламенея,
Ревнуя к общему добру,
Донос на мощного злодея
Предубежденному Петру
К ногам положит не робея?»
Между полтавских казаков,
Презренных девою несчастной,
Один с младенческих годов
Ее любил любовью страстной.
Вечерней, утренней порой,
На берегу реки родной,
В тени украинских черешен,
Бывало, он Марию ждал,
И ожиданием страдал,

И краткой встречей был утешен.
Он без надежд ее любил,
Не докучал он ей мольбою:
Отказа б он не пережил.
Когда наехали толпою
К ней женихи, из их рядов
Уныл и сир он удалился.
Когда же вдруг меж казаков
Позор Мариин огласился,
И беспощадная молва
Ее со смехом поразила,
И тут Мария сохранила
Над ним привычные права.
Но если кто хотя случайно
Пред ним Мазепу называл,
То он бледнел, терзаясь тайно,
И взоры в землю опускал.
Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?
Чей это конь неутомимый
Бежит в степи необозримой?
Казак на север держит путь,
Казак не хочет отдохнуть
Ни в чистом поле, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе.
Как стекло булат его блестит,
Мешок за пазухой звенит,
Не спотыкаясь конь ретивый

Бежит, размахивая гривой.
Червонцы нужны для гонца,
Булат потеха молодца,
Ретивый конь потеха тоже —
Но шапка для него дороже.
За шапку он оставит рад
Коня, червонцы и булат,
Но выдаст шапку только с бою,
И то лишь с буйной головою.
Зачем он шапкой дорожит?
За тем, что в ней донос зашит,
Донос на гетмана злодея
Царю Петру от Кочубея.
Грозы не чуя между тем,
Неужасаемый ничем,
Мазепа козни продолжает.
С ним полномощный езуит
Мятеж народный учреждает
И шаткой трон ему сулит.
Во тьме ночной они как воры
Ведут свои переговоры,
Измену ценят меж собой,
Слагают цифр универсалов,
Торгуют царской головой,
Торгуют клятвами вассалов.
Какой-то нищий во дворец
Неведомо отколе ходит,
И Орлик, гетманов делец,

Его приводит и выводит.
Повсюду тайно сеют яд
Его подосланные слуги:
Там на Дону казачьи круги
Они с Булавиным мутят;
Там будят диких орд отвагу;
Там за порогами Днепра
Стращают буйную ватагу
Самодержавием Петра.
Маэна всюду взор кидает
И письма шлет из края в край:
Угрозой хитрой подымает
Он на Москву Бахчисарай.
Король ему в Варшаве внемлет,
В стенах Очакова паша,
Во стане Карл и царь.
Не дремлет
Его коварная душа;
Он, думой думу развивая,
Верней готовит свой удар;
В нем не слабеет воля злая,
Неутомим преступный жар.
Но как он вздрогнул, как воспрянул,
Когда пред ним незапно грянул
Упадный гром! когда ему,
Врагу России самому,
Вельможи русские послали

В Полтаве писанный донос
И вместо праведных угроз,
Как жертве, ласки расточали;
И озабоченный войной,
Гнушаясь мнимой клеветой,
Донос оставя без вниманья,
Сам царь Иуду утешал
И злобу шумом наказанья
Смирить надолго обещал!
Мазепа, в горести притворной,
К царю возносит глас покорный.
«И знает бог, и видит свет:
Он, бедный гетман, двадцать лет
Царю служил душою верной;
Его щедротою безмерной
Осыпан, дивно вознесен...
О, как слепа, безумна злоба!..
Ему ль теперь у двери гроба
Начать учение измен,
И потемнять благую славу?
Не он ли помощь Станиславу
С негодованьем отказал,
Стыдясь, отверг венец Украйны
И договор и письма тайны
К царю, по долгу, отослал?
Не он ли наушеньям хана
И цареградского салтана
Был глух? Усердием горя,

С врагами белого царя
Умом и саблей рад был спорить,
Трудов и жизни не жалел,
И ныне злобный недруг смел
Его седины опозорить!
И кто же? Искра, Кочубей!
Так долго быв его друзьями!..»
И с кровожадными слезами,
В холодной дерзости своей,
Их казни требует злодей...
Чьей казни?.. старец непреклон-
ный!
Чья дочь в объятиях его?
Но хладно сердца своего
Он заглушает ропот сонный.
Он говорит: «В неравный спор
Зачем вступает сей безумец?
Он сам, надменный вольнодумец,
Сам точит на себя топор.
Куда бежит, зажавши вежды?
На чем он основал надежды?
Или... но дочери любовь
Главы отцовской не искупит.
Любовник гетману уступит,
Не то моя прольется кровь.»
Мария, бедная Мария,
Краса черкасских дочерей!
Не знаешь ты, какого змия

Ласкаешь на груди своей.
Какой же властью непонятной
К душе свирепой и развратной
Так сильно ты привлечена?
Кому ты в жертву отдана?
Его кудрявые седины,
Его глубокие морщины,
Его блестящий, впалый взор,
Его лукавый разговор
Тебе всего, всего дороже:
Ты мать забыть для них могла,
Соблазном постланное ложе
Ты отчей сени предпочла.
Своими чудными очами
Тебя старик заморозил,
Своими тихими речами
В тебе он совесть усыпил;
Ты на него с благоговеньем
Возводишь ослепленный взор,
Его лелеешь с умиленьем —
Тебе приятен твой позор,
Ты им, в безумном упоеньи,
Как целомудрием горда —
Ты прелесть нежную стыда
В своем утратила паденьи...
Что стыд Марии? что молва?
Что для нее мирские пени,
Когда склоняется в колени

К ней старца гордая глава,
Когда с ней гетман забывает
Судьбы своей и труд и шум,
Иль тайны смелых, грозных дум
Ей, деве робкой, открывает?
И дней невинных ей не жаль,
И душу ей одна печаль
Порой, как туча, затмевает:
Она унылых пред собой
Отца и мать воображает;
Она, сквозь слезы, видит их
В бездетной старости, одних,
И, мнится, пеням их внимает....
О, если б ведала она,
Что уж узнала вся Украина!
Но от нее сохранена
Еще убийственная тайна.
Мазепа мрачен. Ум его
Смущен жестокими мечтами.
Мария нежными очами
Глядит на старца своего.
Она, обняв его колени,
Слова любви ему твердит.
Напрасно: черных помышлений
Ее любовь не удалит.
Пред бедной девой с невниманьем
Он хладно потупляет взор,
И ей на ласковый укор

Одним ответствует молчаньем.
Удивлена, оскорблена,
Едва дыша, встает она
И говорит с негодованьем:
«Послушай, гетман; для тебя
Я позабыла всё на свете.
Навек однажды полюбя,
Одно имела я в предмете:
Твою любовь. Я для нее
Сгубила счастье мое,
Но ни о чем я не жалею...
Ты помнишь: в страшной тишине,
В ту ночь, как стала я твоею,
Меня любить ты клялся мне.
Зачем же ты меня не любишь?»

Мазепа
Мой друг, несправедлива ты.
Оставь безумные мечты;
Ты подозреньем сердце губишь:
Нет, душу пылкую твою
Волнуют, ослепляют страсти.
Мария, верь: тебя люблю
Я больше славы, больше власти.

Мария
Неправда: ты со мной хитришь.
Давно ль мы были неразлучны?

Теперь ты ласк моих бежишь;
Теперь они тебе докучны;
Ты целый день в кругу старшин,
В пирах, разъездах – я забыта;
Ты долгой ночью иль один,
Иль с нищим, иль у езуита;
Любовь смиренная моя
Встречает хладную суровость.
Ты пил недавно, знаю я,
Здоровье Дульской. Это новость;
Кто эта Дульская?

Мазепа
И ты
Ревнива? Мне ль, в мои ли лета
Искать надменного привета
Самолюбивой красоты?
И стану ль я, старик суровый,
Как праздный юноша, вздыхать,
Влачить позорные оковы
И жен притворством искушать?

Мария
Нет, объяснись без отговорок
И просто, прямо отвечай. Мазепа
Покой души твоей мне дорог,
Мария; так и быть: узнай.
Давно замыслили мы дело;

Теперь оно кипит у нас.
Благое время нам приспело;
Борьбы великой близок час.
Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украине быть уже пора:
И знамя вольности кровавой
Я поднимаю на Петра.
Готово всё: в переговорах
Со мною оба короля;
И скоро в смутах, в бранных спо-
рах,
Быть может, трон воздвигну я.
Друзей надежных я имею:
Княгиня Дульская и с нею
Мой езуит, да нищий сей
К концу мой замысел приводят.
Через руки их ко мне доходят
Наказы, письма королей.
Вот важные тебе признанья.
Довольна ль ты? Твои мечтанья
Рассеяны ль?

Мария
О милый мой,

*Ты будешь царь земли родной!
Твоим седидам как пристанет
Корона царская!*

*Мазепа
Постой.
Не всё свершилось. Буря грянет;
Кто может знать, что ждет ме-
ня? Мария
Я близ тебя не знаю страха —
Ты так могущ! О, знаю я:
Трон ждет тебя.*

*Мазепа
А если плаха?..*

*Мария
С тобой на плаху, если так.
Ах, пережить тебя могу ли?
Но нет: ты носишь власти знак.*

*Мазепа
Меня ты любишь?*

*Мария
Я! люблю ли?*

Мазепа

Скажи: отец или супруг
Тебе дороже?

Мария
Милый друг,
К чему вопрос такой? тревожит
Меня напрасно он. Семью
Стараюсь я забыть мою.
Я стала ей в позор; быть может
(Какая страшная мечта!)
Моим отцом я проклята,
А за кого?

Мазепа
Так я дороже
Тебе отца? Молчишь...

Мария
О боже!

Мазепа
Что ж? отвечай.

Мария
Реши ты сам.

Мазепа
Послушай: если было б нам,

*Ему иль мне, погибнуть надо,
А ты бы нам судьей была,
Кого б ты в жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?*

*Мария
Ах, полно! сердце не смущай!
Ты искунитель.*

*Мазепа
Отвечай!*

*Мария
Ты бледен; речь твоя сурова...
О, не сердись! Всем, всем готова
Тебе я жертвовать, поверь;
Но страшны мне слова такие.
Довольно.*

*Мазепа
Помни же, Мария,
Что ты сказала мне теперь.
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листья.
Луна спокойно с высоты*

Над Белой-Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.
И тихо, тихо всё кругом;
Но в замке шопот и смятенье.
В одной из башен, под окном,
В глубоком, тяжком размышле-
нии,
Окован, Кочубей сидит
И мрачно на небо глядит.
Завтра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый.
Дрема долит. Но, боже правый!
К ногам злодея, молча, пасть
Как бессловесное создание,
Царем быть отдану во власть
Врагу царя на поруганье,
Утратить жизнь – и с нею честь,
Друзей с собой на плаху весть,
Над гробом слышать их прокля-
тья,
Ложась безвинным под топор,
Врага веселый встретить взор
И смерти кинуться в объятья,
Не завещая никому

Вражды к злодею своему!..
И вспомнил он свою Полтаву
Обычный круг семьи, друзей,
Минувших дней богатство, славу,
И песни дочери своей,
И старый дом, где он родился,
Где знал и труд и мирный сон,
И всё, чем в жизни наслаждался,
Что добровольно бросил он,
И для чего? —

Но ключ в заржавом
Замке гремит – и пробуждён
Несчастный думает: вот он!
Вот на пути моем кровавом
Мой вождь под знаменем креста,
Грехов могущий разрешитель,
Духовной скорби врач, служитель
За нас распятого Христа,
Его святую кровь и тело
Принесший мне, да укреплюсь,
Да приступлю ко смерти смело
И жизни вечной приобщусь!
И с сокрушением сердечным
Готов несчастный Кочубей
Перед всесильным, бесконечным
Излить тоску мольбы своей.
Но не отшельника святого,
Он гостя узнает иного:

Свирепый Орлик перед ним.
И отвращением томим,
Страдалец горько вопрошает:
«Ты здесь, жестокой человек?
Зачем последний мой ночлег
Еще Мазепа возмущает?»

Орлик
Допрос не кончен: отвечай.

Кочубей
Я отвечал уже: ступай,
Оставь меня.

Орлик
Еще признанья
Пан гетман требует.

Кочубей
Но в чем?
Давно сознался я во всем,
Что вы хотели. Показанья
Мои все ложны. Я лукав,
Я строю козни. Гетман прав.
Чего вам более?

Орлик
Мы знаем,

Что ты несчетно был богат;
Мы знаем: не единый клад
Тобой в Диканьке укрываем.
Свершиться казнь твоя должна;
Твое имение сполна
В казну поступит войсковую —
Таков закон. Я указую
Тебе последний долг: открой,
Где клады, скрытые тобой?

Кочубей
Так, не ошиблись вы: три клада
В сей жизни были мне отрада.
И первый клад мой честь была,
Клад этот пытка отняла;
Другой был клад невозвратимый
Честь дочери моей любимой.
Я день и ночь над ним дрожал:
Мазепа этот клад украл.
Но сохранил я клад последний,
Мой третий клад: святую месть.
Ее готовлюсь богу снести.

Орлик
Старик, оставь пустые бредни:
Сегодня покидая свет,
Питайся мыслию суровой.
Шутить не время. Дай ответ,

*Когда не хочешь пытки новой:
Где спрятал деньги?*

*Кочубей
Злой холоп!
Окончишь ли допрос нелепый?
Повремени; дай лечь мне в гроб,
Тогда ступай себе с Мазепой
Мое наследие считать
Окровавленными перстами,
Мои подвалы разрывать,
Рубить и жечь сады с домами.
С собой возьмите дочь мою;
Она сама вам всё расскажет,
Сама все клады вам укажет;
Но ради господи молю,
Теперь оставь меня в покое.*

*Орлик
Где спрятал деньги? укажи.
Не хочешь? – Деньги где? скажи,
Иль выйдет следствие плохое.
Подумай; место нам назначь.
Молчишь? – Ну, в пытку.
Гей, палач! Палач вошел....
О, ночь мучений!
Но где же гетман? где злодей?
Куда бежал от угрызений*

Змеиной совести своей?
В светлице девы усыпленной,
Еще незнанием блаженной,
Близь ложа крестницы молодой
Сидит с поникшею главой
Мазепа тихой и угрюмой.
В его душе проходят думы,
Одна другой мрачней, мрачней.
«Умрет безумный Кочубей;
Спассти нельзя его. Чем ближе
Цель гетмана, тем тверже он
Быть должен властью облечен,
Тем перед ним склоняться ниже
Должна вражда. Спасенья нет:
Доносчик и его клевет
Умрут». Но брося взор на ложе,
Мазепа думает: «О боже!
Что будет с ней, когда она
Услышит слово роковое?
Досель она еще в покое —
Но тайна быть сохранена
Не может долее. Секира,
Упав поутру, загремит
По всей Украине. Голос мира
Вокруг нее заговорит!..
Ах, вижу я: кому судьбою
Волненья жизни суждены,
Тот стой один перед грозою,

Не призывай к себе жены.
В одну телегу впрячь невозможно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумства дань...
Всё, что цены себе не знает,
Всё, всё, чем жизнь мила бывает,
Бедняжка принесла мне в дар,
Мне, старицу мрачному, –
и что же?
Какой готовлю ей удар! -»
И он глядит: на тихом ложе
Как сладок юности покой!
Как сон ее лелеет нежно!
Уста раскрылись; безмятежно
Дыханье груди молодой;
А завтра, завтра... содрогаясь
Мазепа отвращает взгляд,
Встает и, тихо пробираясь,
В уединенный сходит сад.
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листья.
Но мрачны странные мечты
В душе Мазепы: звезды ночи,
Как обвинительные очи,

За ним насмешливо глядят.
И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою.
И летней, теплой ночи тьма
Душна как черная тюрьма.
Вдруг... слабый крик... невнятный
стон
Как бы из замка слышит он.
То был ли сон воображенья,
Иль плач совы, иль зверя вой,
Иль пытки стон, иль звук иной —
Но только своего волненья
Преодолеть не мог старик
И на протяжный слабый крик
Другим ответствовал – тем кри-
ком,
Которым он в весельи диком
Поля сраженья оглашал,
Когда с Забелой, с Гамалеем,
И – с ним... и с этим Кочубеем
Он в бранном пламени скакал.
Зари багряной полоса
Объемлет ярко небеса.
Блеснули доли, холмы, нивы,
Вершины роц и волны рек.
Раздался утра шум игривый,
И пробудился человек.

Еще Мария сладко дышит,
Дремой объятая, и слышит
Сквозь легкой сон, что кто-то
к ней

Вошел и ног ее коснулся.
Она проснулась – но скорей
С улыбкой взор ее сомкнулся
От блеска утренних лучей.
Мария руки протянула
И с негой томною шепнула:
«Мазепа, ты?..» Но голос ей
Иной отвечает... о боже!
Вздрагнув, она глядит...
и что же?
Пред нею мать...

Мать
Молчи, молчи;
Не погуби нас: я в ночи
Сюда прокралась осторожно
С единой, слезною мольбой.
Сегодня казнь. Тебе одной
Свирепство их смягчить возмож-
но.
Спаси отца. Дочь, в ужасе
Какой отец?
Какая казнь?

Мать
Иль ты доньне
Не знаешь?.. нет! ты не в пусты-
не,
Ты во дворце; ты знать должна,
Как сила гетмана грозна,
Как он врагов своих карает.
Как государь ему внимает...
Но вижу: скорбную семью
Ты отвергаешь для Мазепы;
Тебя я сонну застаю,
Когда свершают суд свирепый,
Когда читают приговор,
Когда готов отцу топор...
Друг другу, вижу, мы чужие...
Опомнись, дочь моя! Мария,
Беги, пади к его ногам,
Спаси отца, будь ангел нам:
Твой взгляд злодеям руки свяжет,
Ты можешь их топор отвести.
Рвись, требуй – гетман не отка-
жет:
Ты для него забыла честь,
Родных и бога.

Дочь
Что со мною?
Отец... Мазепа... казнь – с моль-

бою
Здесь, в этом замке мать моя —
Нет, иль ума лишилась я,
Иль это грезы.

Мать
Бог с тобою,
Нет, нет – не грезы, не мечты.
Ужель еще не знаешь ты,
Что твой отец ожесточенный
Бесчестья дочери не снес
И, жаждой мести увлеченный,
Царю на гетмана донес...
Что в истязаниях кровавых
Сознался в умыслах лукавых,
В стыде безумной клеветы,
Что, жертва смелой правоты,
Врагу он выдан головою,
Что пред громадой войсковою,
Когда его не осенит
Десница вышняя господня,
Он должен быть казнен сегодня,
Что здесь покаместь он сидит
В тюремной башне.

Дочь
Боже, боже!..
Сегодня! – бедный мой отец!

И дева падает на ложе,
Как хладный падает мертвец.
Пестреют шапки. Копья блещут.
Бьют в бубны. Скачут сердюки.
В строях ровняются полки.
Толпы кипят. Сердца трепещут.
Дорога, как змеиный хвост,
Полна народу, шевелится.
Средь поля роковой намост.
На нем гуляет, веселится
Палач и алчно жертвы ждет:
То в руки белые берет,
Играючи, топор тяжелый,
То шутит с чернию веселой.
В гремящий говор всё слилось:
Крик женской, брань, и смех, и ропот.
Вдруг восклицанье раздалось
И смолкло всё. Лишь конской топот
Был слышен в грозной тишине.
Там, окруженный сердюками,
Вельможный гетман с старшинами
Скакал на вороном коне.
А там по киевской дороге
Телега ехала. В тревоге
Все взоры обратили к ней.

В ней, с миром, с небом примирен-
ный,
Могущей верой укрепленный
Сидел безвинный Кочубей,
С ним Искра тихой, равнодушный,
Как агнец, жребию послушный.
Телега стала. Раздалось
Моление ликов громогласных.
С кадил куренье поднялось.
За упокой души несчастных
Безмолвно молится народ,
Страдальцы за врагов. И вот
Идут они, взошли. На плаху,
Крестясь, ложится Кочубей.
Как будто в гробе, тьмы людей
Молчат. Топор блеснул с размаху,
И отскочила голова.
Всё поле охнуло. Другая
Катится вслед за ней, мигая.
Зарделась кровию трава —
И сердцем радуясь во злобе
Палач за чуб поймал их обе
И напряженной рукой
Потряс их обе над толпой.
Свершилась казнь. Народ беспеч-
ный
Идет, рассыпавшись, домой
И про свои заботы вечны

Уже толкует меж собой.
Пустеет поле понемногу.
Тогда чрез пеструю дорогу
Перебежали две жены.
Утомлены, запылены,
Они, казалось, к месту казни
Спешили полные боязни.
«Уж поздно», – кто-то им сказал
И в поле перстом указал.
Там роковой намоет ломали,
Молился в черных ризах поп,
И на телегу подымали
Два казака дубовый гроб.
Один пред конною толпой
Мазепа, грозен, удалялся
От места казни. Он терзался
Какой-то страшной пустотой.
Никто к нему не приближался,
Не говорил он ничего;
Весь в пене мчался конь его.
Домой приехав, «что Мария?»
Спросил Мазепа. Слышит он
Ответы робкие, глухие...
Невольным страхом поражен,
Идет он к ней; в светлицу входит:
Светлица тихая пуста —
Он в сад, и там смятенный бро-
дит;

Но вокруг широкого пруда,
В кустах, вдоль сеней безмятеж-
ных
Все пусто, нет нигде следов —
Ушла! – Зовет он слуг надежных,
Своих проворных сердюков.
Они бегут. Храпят их кони —
Раздался дикой клик погони,
Верхом – и скачут молодцы
Во весь опор во все концы.
Бегут мгновенья дорогие.
Не возвращается Мария.
Никто не ведал, не слышал,
Зачем и как она бежала...
Мазепа молча скрежетал.
Затихнув, челядь трепетала.
В груди кипучий яд нося,
В светлице гетман заперся.
Близь ложа там во мраке ночи
Сидел он, не смыкая очи,
Нездешней мукою томим.
Поутру, посланные слуги
Один явились за другим.
Чуть кони двигались. Подпруги,
Подковы, узды, чепраки,
Всё было пеною покрыто,
В крови, растеряно, избито —
Но ни один ему принести

Не мог о бедной деве весть.
И след ее существованья
Пропал как будто звук пустой,
И мать одна во мрак изгнанья
Умчала горе с нищетой.
Души глубокая печаль
Стремиться дерзновенно в даль
Вождю Украйны не мешает.
Твердея в умысле своем,
Он с гордым шведским королем
Свои сношенья продолжает.
Меж тем, чтоб обмануть верней
Глаза враждебного сомненья,
Он, окружась толпой врачей,
На ложе мнимого мученья
Стоная молит исцеленья.
Плоды страстей, войны, трудов
Болезни, дряхлость и печали,
Предтечи смерти, приковали
Его к одру. Уже готов
Он скоро бренный мир оставить;
Святой обряд он хочет править,
Он архипастыря зовет
К одру сомнительной кончины;
И на коварные седины
Елей таинственный течет.
Но время шло. Москва напрасно
К себе гостей ждала всечасно,

Средь старых, вражеских могил
Готова шведам тризну тайну.
Незапно Карл поворотил
И перенес войну в Украину.
И день настал. Встает с одра
Мазепа, сей страдалец хилый,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой.
Теперь он мощный враг Петра.
Теперь он, бодрый, пред полками
Сверкает гордыми очами
И саблей машет – и к Десне
Проворно мчится на коне.
Согбенный тяжело жизнью ста-
рой,
Так оный хитрый кардинал,
Венчавшись римскою тиарой,
И прям, и здоров, и молод стал.
И весть на крыльях полетела.
Украина смутно зашумела:
«Он перешел, он изменил,
К ногам он Карлу положил
Бунчук покорный». Пламя пышет,
Встает кровавая заря
Войны народной.
Кто опишет
Негодование, гнев царя?
Гремит анафема в соборах;

Мазепы лик терзает кат.
На шумной раде, в вольных спорах
Другого гетмана творят.
С берегов пустынных Енисея
Семейства Искры, Кочубея
Поспешно призваны Петром.
Он с ними слезы проливает.
Он их, лаская, осыпает
И новой честью и добром.
Мазепы враг, наездник пылкий,
Старик Палей из мрака ссылки
В Украину едет в царский стан.
Трепещет бунт осиротелый.
На плахе гибнет Чечель смелый
И запорожский атаман.
И ты, любовник бранной славы,
Для шлема кинувший венец,
Твой близок день, ты вал Полта-
вы
Вдали завидел наконец.
И царь туда ж помчал дружины.
Они как буря притекли —
И оба стана средь равнины
Друг друга хитро облегли.
Не раз избитый в схватке смелой,
Заране кровью опьянелый,
С бойцом желанным наконец
Так грозный сходится боец.

И злобясь видит Карл могучий
Уж не расстроенные тучи
Несчастных нарвских беглецов,
А нить полков блестящих, строй-
ных
Послушных, быстрых и спокой-
ных,
И ряд незыблемый штыков.
Но он решил: завтра бой.
Глубокой сон во стане шведа.
Лишь под палаткою одной
Ведется шопотом беседа.
«Нет, вижу я, нет, Орлик мой,
Поторопились мы некстати:
Расчет и дерзкой и плохой,
И в нем не будет благодати.
Пропала, видно, цель моя.
Что делать? Дал я промах важ-
ный:
Ошибся в этом Карле я.
Он мальчишка бойкой и отважный;
Два-три сраженья разыграть,
Конечно, может он с успехом,
К врагу на ужин прискакать,
Ответствовать на бомбу сме-
хом;
Не хуже русского стрелка
Прокрасться в ночь ко вражью

стану;
Свалить как нынче казака
И обменять на рану рану;
Но не ему вести борьбу
С самодержавным великаном:
Как полк, вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном;
Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен, и кичлив,
Бог весть какому счастью верит;
Он силы новые врага
Успехом прошлым только мерит

Сломить ему свои рога.
Стыжусь: воинственным бродя-
гой
Увлекся я на старость лет;
Был ослеплен его отвагой
И беглым счастьем побед,
Как дева робкая.

Орлик
Сраженья
Дождемся. Время не ушло
С Петром опять войти в сноше-
нья:
Еще поправить можно ало.
Разбитый нами, нет сомненья,

Царь не отвергнет примиренья.

Мазепа

*Нет, поздно. Русскому царю
Со мной мириться невозможно.
Давно решилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стесненной злобой. Под Азовым
Однажды я с царем суровым
Во ставке ночью пировал:
Полны вином кипели чаши,
Кипели с ними речи наши.
Я слово смелое сказал.
Смутились гости молодые...
Царь, вспыхнув, чашу уронил
И за усы мои седые
Меня с угрозой ухватил.
Тогда, смирясь в бессильном гне-
ве,
Отмстить себе я клятву дал;
Носил ее – как мать во чреве
Младенца носит. Срок настал.
Так, обо мне воспоминанье
Хранить он будет до конца.
Петру я послан в наказанье;
Я терн в листах его венца:
Он дал бы грады родовые
И жизни лучшие часы,*

Чтоб снова как во дни были
Держать Мазепу за усы.
Но есть еще для нас надежды:
Кому бежать, решит заря.
Умолк и закрывает вежды
Изменник русского царя.
Горит восток зарею новой
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули.
В кустах рассыпались стрелки.
Катятся ядра, свищут пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые победы,
Сквозь огонь окопов рвутся шведы;
Волнуясь, конница летит;
Пехота движется за нею
И тяжелой твердостью своею
Ее стремление крепит.
И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там,
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.
Уходит Розен сквозь теснины;

Сдается пылкой Шлипенбах.
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.
Уж близок полдень. Жар пылает.
Как пахарь, битва отдыхает.
Кой-где гарцуют казаки.
Ровняясь строятся полки.
Молчит музыка боевая.
На холмах пушки присмирев
Прервали свой голодный рев.
И се – равнину оглашая

Далече грянуло ура:
Полки увидели Петра.
И он промчался пред полками,
Могущ и радостен как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В времена жребия земного
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны;
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный
Полудержавный властелин.
И перед синими рядами
Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.
Вожди героя шли за ним.
Он в думу тихо погрузился
Смущенный взор изобразил
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье...
Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.
И с ними царские дружины

Сошлись в дыму среди равнины:
И грянул бой, Полтавской бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живую отраженным,
Над падшим строем свежий
строй

Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся с плеча.
Бросая груды тел на гряду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский – колет, рубит, ре-
жет.

Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье,
стон,

И смерть и ад со всех сторон.

Среди тревоги и волненья
На битву взором вдохновенья
Вожди спокойные глядят,
Движенья ратные следят,
Предвидят гибель и победу
И в тишине ведут беседу.
Но близ московского царя
Кто воин сей под сединами?

Двумя поддержан казаками,
Сердечной ревностью горя,
Он оком опытным героя
Взирает на волнение боя.
Уж на коня не вскочит он,
Одрых в изгнание сиротея,
И казаки на клич Палея
Не налетят со всех сторон!
Но что ж его сверкнули очи,
И гневом, будто мглою ночи,
Покрылось старое чело?
Что возмутить его могло?
Иль он, сквозь бранный дым, уви-
дел
Врага Мазепу, и в сей миг
Свои лета возненавидел
Обезоруженный старик?
Мазепа, в думу погруженный,
Взирал на битву, окруженный
Толпой мятежных казаков,
Родных, старшин и сердюков.
Вдруг выстрел. Старец обратился
У Войнаровского в руках
Мушкетный ствол еще дымился.
Сраженный в нескольких шагах,
Младой казак в крови валялся,
А конь, весь в пене и пыли,
Почуя волю, дико мчался,

Скрываясь в огненной дали.
Казак на гетмана стремился
Сквозь битву с саблею в руках,
С безумной яростью в очах.
Старик, подъехав, обратился
К нему с вопросом. Но казак
Уж умирал. Потухший зрак
Еще грозил врагу России;
Был мрачен помертвелый лик,
И имя нежное Марии
Чуть лепетал еще язык.
Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор – и враг бежит.
И следом конница пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась
Как роем черной саранчи.
Пирует Петр. И горд и ясен
И славы полон взор его.
И царской пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает.

Но где же первый, званый гость?
Где первый, грозный наш учитель,
Чью долговременную злость
Смирил полтавский победитель?
И где ж Мазепа? где злодей?
Куда бежал Иуда в страхе?
Зачем король не меж гостей?
Зачем изменник не на плахе?
Верхом, в глуши степей нагих,
Король и гетман мчатся оба.
Бегут. Судьба связала их.
Опасность близкая и злоба
Даруют силу королю.
Он рану тяжкую свою
Забыл. Поникнув головою,
Он скачет, русскими гоним,
И слуги верные толпою
Чуть могут следовать за ним.
Обозревая зорким взглядом
Степей широкой полукруг,
С ним старый гетман скачет ря-
дом.
Пред ними хутор... Что же вдруг
Мазепа будто испугался?
Что мимо хутора помчался
Он стороной во весь опор?
Иль этот запустелый двор,
И дом, и сад уединенный,

И в поле отпертая дверь
Какой-нибудь рассказ забвенный
Ему напомнили теперь?
Святой невинности губитель!
Узнал ли ты сию обитель,
Сей дом, веселый прежде дом,
Где ты, вином разгоряченный,
Семьей счастливой окруженный,
Шутил бывало за столом?
Узнал ли ты приют укромный,
Где мирный ангел обитал,
И сад, откуда ночью тёмной
Ты вывел в степь... Узнал, узнал!
Ночные тени степь объемлют.
На бреге синего Днепра
Между скалами чутко дремлют
Враги России и Петра.
Щадят мечты покой героя,
Урон Полтавы он забыл.
Но сон Мазепы смутен был.
В нем мрачный дух не знал покоя.
И вдруг в безмолвии ночном
Его зовут. Он пробудился.
Глядит: над ним, грозя перстом,
Тихонько кто-то наклонился.
Он вздрогнул как под топором.
Пред ним с развитыми власами,
Сверкая впальными глазами,

Вся в рубище, худа, бледна,
Стоит, луной освещена...
«Иль это сон?.. Мария... ты ли?»

Мария
Ах, тише, тише, друг!.. Сейчас
Отец и мать глаза закрыли...
Постой... услышать могут нас.

Мазепа
Мария, бедная Мария!
Опомнись! Боже!.. Что с тобой?

Мария
Послушай: хитрости какие!
Что за рассказ у них смешной?
Она за тайну мне сказала,
Что умер бедный мой отец,
И мне тихонько показала
Седую голову – творец!
Куда бежать нам от злоречья?
Подумай: эта голова
Была совсем не человечья,
А волчья – видишь: какова!
Чем обмануть меня хотела!
Не стыдно ль ей меня пугать?
И для чего? чтоб я не смела
С тобой сегодня убежать!

Возможно ль? С горестью глубокой

Любовник ей внимал жестокой.
Но, вихрю мыслей предана,
«Однако ж, – говорит она, —
Я помню поле... праздник шумный...

И чернь... и мертвые тела...
На праздник мать меня вела...
Но где ж ты был?.. С тобою розно
Зачем в ночи скитаюсь я?
Пойдем домой. Скорей... уж поздно.

Ах, вижу, голова моя
Полна волнения пустого:
Я принимала за другого
Тебя, старик. Оставь меня.
Твой взор насмешлив и ужасен.
Ты безобразен. Он прекрасен:
В его глазах блестит любовь,
В его речах такая нега!
Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь!..»
И с диким смехом завизжала,
И легче серны молодой
Она вспрыгнула, побежала
И скрылась в темноте ночной.
Редела тень. Восток алел

Огонь казачий пламенел.
Пшеницу казаки варили;
Драбанты у брегу Днепра
Коней расседланных поили.
Проснулся Карл. «Ого! пора!
Вставай, Мазепа. Рассветает.»
Но гетман уж не спит давно.
Тоска, тоска его снедает;
В груди дыханье стеснено.
И молча он коня седлает,
И скачет с беглым королем,
И страшно взор его сверкает,
С родным прощаясь рубежом.
Прошло сто лет – и что ж оста-
лось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколенье миновалось —
И с ним исчез кровавый след
Усилий, бедствий и побед.
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.
В стране – где мельниц ряд кры-
латый
Оградой мирной обступил
Бендер пустынные раскаты,

Где бродят буйволы рогаты
Вокруг воинственных могил, —
Останки разоренной сени,
Три углубленные в земле
И мхом поросшие ступени
Гласят о шведском короле.
С них отражал герой безумный
Один в толпе домашних слуг,
Турецкой рати приступ шумный,
И бросил шпагу под бунчук;
И тщетно там пришлец унылый
Искал бы гетманской могилы:
Забыв Мазепа с давних пор!
Лишь в торжествующей святыне
Раз в год анафемой донине,
Грозя, гремит о нем собор.
Но сохранилася могила,
Где двух страдальцев прах почил;
Меж древних праведных могил
Их мирно церковь приютила.
Цветет в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных
Донине внукам говорят.
Но дочь преступница... преданья
Об ней молчат. Ее страданья,
Ее судьба, ее конец
Непроницаемою тьмою

*От нас закрыты. Лишь порою
Слепой украинский певец,
Когда в селе перед народом
Он песни гетмана бренчит,
О грешной деве мимоходом
Казачкам юным говорит.*

Медный всадник (1833)

*На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.*

*И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.*

*Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.*

*Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхой невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремят-
ся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова.*

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный
вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлун-
ный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,

Пехотных ратей и коней
Однообразную красоту,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
На сквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царской дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас

Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

Часть первая

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной.
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой...
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо к тому же дружно.
Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне; где-то слу-
жит,

Дичится знатных и не тужит
Ни о почюющей родне,
Ни о забытой старине.
Итак, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель, разделся, лег.
Но долго он заснуть не мог
В волненье разных размышлений.
О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливицы,
Ума недалнего, ленивцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Всё прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.
Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался, как поэт:

«Жениться? Мне? зачем же нет?
Оно и тяжело, конечно;

Но что ж, я молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокою.
Пройдет, быть может, год-дру-
гой —
Местечко получу, Параше
Препоручу семейство наше
И воспитание ребят...
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...»

Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...
Сонны очи
Он наконец закрыл. И вот
Редееет мгла ненастной ночи
И бледный день уж настаёт...
Ужасный день!
Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь...

Поутру над ее берегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Всё побежало, всё вокруг
Вдруг опустело – воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь как тритон,
По пояс в воду погружен.

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,

Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!
Народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! всё гибнет: кров и пища!
Где будет взять?
В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон,
Печален, смутен, вышел он
И молвил: «С божией стихией
Царям не совладеть». Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Стояли стогны озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.
Царь молвил – из конца в конец,
По ближним улицам и дальным
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы
Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ.

Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом

*С поднятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые,
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижимый, страшно блед-
ный*

*Евгений. Он страшился, бедный,
Не за себя. Он не слышал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал.
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки... Боже, боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашенный, да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,*

Насмешка неба над землей?

*И он, как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода и больше ничего!
И, обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.*

Часть вторая

*Но вот, насытясь разрушеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любуясь возмущеньем
И покидая с небреженьем
Свою добычу. Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скре-
жет,
Насилье, брань, тревога, вой!..
И, грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат разбойники домой,
Добычу на пути роняя.*

Вода сбыла, и мостовая
Открылась, и Евгений мой
Спешит, душою замирая,
В надежде, страхе и тоске
К едва смирившейся реке.
Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
Евгений смотрит: видит лодку;
Он к ней бежит как на находку;
Он перевозчика зовет —
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Через волны страшные везет.

И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец,
И скрыться вглубь меж их ряда-
ми
Всечасно с дерзкими пловцами
Готов был челн – и наконец
Достиг он берега.
Несчастный
Знакомой улицей бежит
В места знакомые. Глядит,

Узнать не может. Вид ужасный!
Всё перед ним завалено;
Что сброшено, что снесено;
Скривились домики, другие
Совсем обрушились, иные
Волнами сдвинуты; кругом,
Как будто в поле боевом,
Тела валяются. Евгений
Стремглав, не помня ничего,
Изнемогая от мучений,
Бежит туда, где ждет его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом.
И вот бежит уж он предме-
стьем,
И вот залив, и близок дом...
Что ж это?..
Он остановился.
Пошел назад и воротился.
Глядит... идет... еще глядит.
Вот место, где их дом стоит;
Вот ива. Были здесь ворота —
Снесло их, видно. Где же дом?
И, полон сумрачной заботы,
Все ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою —
И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал.

Ночная мгла
На город трепетный сошла;
Но долго жители не спали
И меж собою толковали
О дне минувшем.

Утра луч

Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихою столицей
И не нашел уже следов
Беды вчерашней; багряницей
Уже прикрито было зло.
В порядок прежний всё вошло.
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шел. Торгаши отваж-
ный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить. С дво-
ров
Свозили лодки.
Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

Но бедный, бедный мой Евгений ...
Увы! его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах. Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался.
Его терзал какой-то сон.
Прошла неделя, месяц – он
К себе домой не возвращался.
Его пустынный уголок
Отдал внаймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту.
Евгений за своим добром
Не приходил. Он скоро свету
Стал чужд. Весь день бродил пеш-
ком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском.
Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела. Злые дети
Бросали камни вслед ему.
Нередко кучерские плети
Его стегали, потому
Что он не разбирал дороги
Уж никогда; казалось – он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.

И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек,
Ни то ни сё, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

Раз он спал

У невской пристани. Дни лета
Клонились к осени. Дышал
Ненастный ветер. Мрачный вал
Плескал на пристань, роища пени
И бьясь об гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей.

Бедняк проснулся. Мрачно было:
Дождь капал, ветер выл уныло,
И с ним вдали, во тьме ночной
Перекликался часовой...

Вскочил Евгений; вспомнил живо
Он прошлый ужас; торопливо
Он встал; пошел бродить, и вдруг
Остановился – и вокруг

Тихонько стал водить очами
С боязнью дикой на лице.

Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце
С поднятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою

Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.

Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вокруг него,
И львов, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.

Стеснилась грудь его. Чело
К решетке холодной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный!

Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!..» И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный

С тяжелым топотом скакал.

*И с той поры, когда случилось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.*

*Остров мальй
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводнение
Туда, играя, занесло
Домишко ветхой. Над водою
Остался он как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его*

Похоронили ради бога.

1833 г.

Арап Петра Великого (1827)

Глава I

Я в Париже: я начал жить, а не дышать.

Дмитриев. «Журнал путешественника»

В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края, для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненный, возвратился в Париж. Император среди обширных своих трудов не преста-вал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предложениями, то раною, то желанием усовер-

шенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здравии, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления.

По свидетельству всех исторических записок ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностью двора, важностью и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастью, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен. На ту пору явился Law; алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.

Между тем общества представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, всё, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени.

*Temps fortuné, marqué par la licence,
Où la folie, agitant son grelot,
D'un pied léger parcourt toute la
France,
Où nul mortel ne daigne être dévot,
Où l'on fait tout excepté pénitence
[15].*

Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в

Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя le Nègre du czar[16] и ловили его наперехват; регент приглашал его не раз на свои веселые вечера; он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостию Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтеские и Фонтенеля; не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления, и предавался общему вихрю со всею пылкостью своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту Петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил.

Графиня D., уже не в первом цвете лет, славила еще своею красотою. Семнадцати лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключенье. Дом ее

был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами.

Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания; это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо, окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердца, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием.

Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщи-

нами. Разговор его был прост и важен; он понравился графине D., которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудренных париков ее гостиной. (Ибрагим был ранен в голову и вместо парика носил повязку.) Ему было двадцать семь лет от роду; он был высок и строен, и не одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство, но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости.

Любовь не приходила ему на ум, — а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз

неожиданной милостию неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи; без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность... Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительное замечание постороннего. Любовь слепа и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору. Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась его воображению; надежда вдруг озарила его душу; он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлению его страсти, хотела противопоставить ей увещания дружбы и советы благоразумия, она сама ослабевала. Неосторожные вознаграждения быстро следовали одно за другим. И наконец, увлеченная силою страсти, ею же внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отда-

лась восхищенному Ибрагиму...

Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений; он выносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетней и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтоб напрасным шумом не погубить ее совершенно.

Новое обстоятельство еще более запутало ее положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешения, советы, предложения – все было истощено и все отвергнуто. Графиня видела неминуемую ги-

бель и с отчаянием ожидала ее.

Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новою силою. Чувствительные дамы ахали от ужаса; мужчины бились об заклад, кого родит графиня: белого ли, или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал.

Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Два дня перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца; за ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенанья, шепот служанки и приказанья доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу; каж-

дый промежуток молчания обливал его ужасом... вдруг он услышал слабый крик ребенка и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини – черный младенец лежал на постеле в ее ногах. Ибрагим к нему приблизился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащею рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку... но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием.

Все вошло в обыкновенный порядок. Но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа D. В та-

ком случае, что бы ни произошло, гибель графини была неизбежна. Он любил страстно и так же был любим; но графиня была своею нравна и легкомысленна. Она любила не в первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлаждения; доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал; он воображал, что страдания разлуки должны быть менее мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр и темное чувство собственного долга.

Глава II

Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им оболенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться большим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем.

Однажды Ибрагим был у выхода герцога

Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра Первого. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем неволить Ибрагима не намерен, что представляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. «Подумайте о том, что делаете, – сказал ему герцог, – Россия не есть ваше отечество; не думаю, чтоб вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину; но ваше долгое пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились подданным Петра. Поверьте мне: воспользуйтесь его великодушным позволением.

Останьтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не оста-

нутся без достойного вознаграждения». Ибрагим искренно благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении. «Жалею, – сказал ему регент, – но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю.

Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он, по обыкновению, вечер у графини D. Она ничего не знала; Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостиной графиня, ее муж да Ибрагим. Несчастный отдал бы все на свете, чтоб только остаться с нею наедине; но граф D., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «Vonne nuit»[17], – сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «Vonne nuit, messieurs»[18], – повторила графиня. Он все не двигался... наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выйти из ком-

наты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо:

«Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.

Счастье мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченной нежностью... Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории: его холодная насмешливость, рано или поздно, победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу и ты наконец устыдилась бы своей страсти... что было б тогда со мною? Нет! лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты...

Твое спокойствие мне всего дороже: ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни все, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия, все

мучения боязни; вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай: должен ли я подвергать тебя доле тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека?

Прости, Леонора, прости, милый, единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат, то по крайней мере будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства... Прости, Леонора – отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий; прости, будь счастлива – и думай иногда о бедном негре, о твоём верном Ибрагиме».

В ту же ночь он отправился в Россию.

Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностию. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем

ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек.

Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала. Но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротою ветра, и в семнадцатый день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, чрез которое шла тогдашняя большая дорога.

Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? – закричал он, вставая с лавки. – Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоём приезде, – сказал Петр, – и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, – продолжал государь, –

твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Через полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над супротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына сада. На крыльце встретила Петра женщина лет тридцати пяти, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр поцеловал ее в губы и, взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника: прошу любить и жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него черные, пронизательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие,

стройные, свежие как розы стояли за нею и почтительно приблизились к Петру. «Лиза, – сказал он одной из них, – помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораньенбауме? вот он: представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о Испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами; он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России.

После обеда государь, по русскому обыкновению, пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству,

описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собрались во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился; князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра; ученого Брюса, прославившего в народе русским Фаустом; молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других пришедших к государю с докладами и за приказаниями.

Государь вышел часа через два. «Посмотрим, – сказал он Ибрагиму, – не позабыл ли ты своей старой должности. Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною». Петр заперся в токарне и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генерал-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончании трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, все ли им

предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж поздно; ты, я чай, устал: ночуй здесь, как бывало в старину. Завтра я тебя разбужу».

Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге, он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня D., в первый раз после разлуки, не была во весь день единственной его мыслию. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностью и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сем расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж в объятия милой графини.

Глава III

На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в коей он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякий по-своему старался обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку. Шереметев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать. Сему последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил приглашений по крайней мере на целый месяц.

Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные – следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видал Петра в сенате, оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в адмиралтейской коллегии утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматри-

вающего переводы иностранных публицистов или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровой, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание: часто думал он о графине D., воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние... но иногда мысль ужасная стесняла его грудь: рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец – он содрогался; ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу.

Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке; Ибрагим с живостью оборотился, и молодой Корсаков, которого он оставил в Париже, в вихре большого света, обнял

его с радостными восклицаниями. «Я сей час только приехал, – сказал Корсаков, – и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоём отсутствии; графиня D. велела звать тебя непременно, и вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. «Как я рад, – продолжал Корсаков, – что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге! что здесь делают, чем занимаются? кто твой портной? заведена ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу, – сказал он, – что тебе теперь не до меня; в другое время наговоримся досыта; еду представляться государю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбежал из комнаты.

Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости. «Ты говоришь, – писала она, – что мое спокойствие дороже тебе всего на свете:

Ибрагим! если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоём отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что считаешь ты своим долгом».

Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь.

Ибрагим двадцать раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь об графине и собрался ехать в адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова, но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять; он уже представлялся государю – и по своему обыкновению казался очень собою доволен. «Entre nous[19], – сказал он Ибрагиму, – государь престранный человек; вообрази, что я застал его в какой-то холстяной фуфайке, на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно ме-

ста, чтоб сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что отроду со мной не случилось. Однако ж государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен вкусом и щегольством моего наряда; по крайней мере он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенный чужестранец, во время шестилетнего отсутствия я вовсе позабыл здешние обыкновения, пожалуйста будь моим ментором, заезжай за мной и представь меня». Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету, более для него занимательному. «Ну, что графиня D.?» – «Графиня? она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого? длинного маркиза R.; что же ты вытаращил свои арапские белки? или все это кажется тебе странным; разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской; подумай об этом хорошенько, а я пойду, отдохну с дороги; не забудь же за мною заехать».

Какие чувства наполнили душу Ибрагима? ревность? бешенство? отчаянье? нет; но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: «Это я предвидел, это должно было случиться». Потом открыл письмо графини, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым.

Корсаков сидел в шляфорке, читая французскую книгу. «Так рано», – сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй, – отвечал тот, – уж половина шестого; мы опоздаем; скорей одевайся и поедem». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи; люди сбежались; он стал поспешно одеваться. Француз-камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, шитый блестками; в передней наскоро пудрили парик, его принесли. Корсаков всунул в него стриженую головку, потребовал

шпагу и перчатки, раз десять перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежьи шубы, и они поехали в Зимний дворец.

Корсаков осыпал Ибрагима вопросами, кто в Петербурге первая красавица? кто славится первым танцовщиком? какой танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымаг и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, в перьях и с булавами, гусары, пажы, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ: свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот: «Арап, арап, царский арап!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настичь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел... В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубы-

ми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались назад и вперед при непрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошью моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимую стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием, присутствовали на сих нововведенных игрищах и с досадою косились на жен и дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметя новых

гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «Que diable est-ce que tout cela?»[20], – спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотой и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, насилу мог туда пробиться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большею частью иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубки и опорожняя глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся. В это время толстый господин, с толстым букетом на груди, суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались, – и тотчас ушел; за-

ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков.

Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостями одна в особенности ему понравилась. Ей было около шестнадцати лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, каза-

лось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на середину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился: во-первых, подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в менюэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить кубок большого орла». Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услыша хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазии. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону. «Ага, – сказал Петр, увидя Корсакова, – попался, брат, изволь же, мосье, пить и не морщиться». Делать было нечего. Бедный

щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Корсаков, – сказал ему Петр, – штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство; смотри, чтоб я с тобой не побранился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из круга, но зашатался и чуть не упал, к неопisanному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с большим усердием и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселии. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцевал с нею менуэт и отвел ее на прежнее место; потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея!.. проклятый кубок большого орла!..» – но вскоре заснул крепким сном, не

чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили; и проснулся на другой день с головною болью, смутно помня шарканья, приседания, табачный дым, господина с букетом и кубок большого орла.

Глава IV

*Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.*

«Руслан и Людмила»

Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту; дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин, но его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины.

Дочери его было семнадцать лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, то есть окруже-

на мамушками, нянюшками, подружками и сеньными девушками, шила золотом и не знала грамоты; отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный танцмейстер имел лет пятьдесят от роду, правая нога была у него прострелена под Нарвою и потому была не весьма способна к менуэтам и курантам, зато левая с удивительным искусством и легкостью выделывала самые трудные па. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей, что и было отчасти причиною проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилою Афанасьевичем; но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною.

День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми,

наконец освобожденными от затворничества домашнего указами государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из обыкновения. Пошли за стол. На первом месте, подле хозяина, сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, семидесятилетний боярин; прочие гости, наблюдая старшинство рода и тем поминая счастливые времена местничества, сели – мужчины по одной стороне, женщины по другой; на конце заняли свои привычные места: барская барыня в старинном шушуне и кичке; карлица, тридцатилетняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которою отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностью. Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни, звон тарелок и дея-

тельных ложек возмущал один общее безмолвие. Наконец, хозяин, видя, что время занять гостей приятною беседою, оборотился и спросил: «А где же Екимовна? Позвать ее сюда». Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранная цветами и мишурою, в штофном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие.

– Здравствуй, Екимовна, – сказал князь Лыков, – каково поживаешь?

– Подобру-поздорову, кум: поючи да пляшучи, женишков поджидаючи.

– Где ты была, дура? – спросил хозяин.

– Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому маниру.

При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место, за стулом хозяина.

– А дура-то врет, врет, да и правду соврет, – сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечно им уважаемая. – Подлинно,

нынешние наряды на смех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего: а, право, жаль сарафана, девичьей ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и смех и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы напялены на обручи: в колымагу садятся бочком; в двери входят – нагибаются. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести – сущие мученицы, мои голубушки.

– Ох, матушка Татьяна Афанасьевна, – сказал Кирила Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе три тысячи душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам. – По мне жена как хочешь одевайся: хоть кутафьей, хоть болдыханом; только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала новешенькие. Бывало, внучке в приданое доставался бабушкин сарафан, а нынешние робронды – поглядишь – сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? разорение русскому дворянству! беда, да и

только. – При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины.

– А кто виноват, – сказал Гаврила Афанасьевич, напеня кружку кислых щей. – Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им потакаем.

– А что нам делать, коли не наша воля? – возразил Кирила Петрович. – Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею; муж за плетку, а жена за наряды. Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас ими господь за прегрешения наши.

Марья Ильинична сидела как на иголках; язык у нее так и свербел; наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамблеях?

– А то в них дурно, – отвечал разгорячен-

ный супруг, – что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены позабыли слово апостольское: жена да убоится своего мужа; хлопочут не о хозяйстве, а об обновах; не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам-вертопрахам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышне находиться вместе с немцами-табачниками да с их работницами? Слыхано ли дело, до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? и добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми.

– Сказал бы словечко, да волк недалечко, – сказал, нахмурясь, Гаврила Афанасьевич. – А признаюсь – ассамблеи и мне не по нраву: того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и самого на смех пьяным напоят. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью; а нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шума с Наташей, что привел меня в краску. На другой день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я думал, кого-то бог несет – уж

не князя ли Александра Даниловича? Не тут-то было: Ивана Евграфовича! небось не мог остановиться у ворот да потрудиться пешком дойти до крыльца – куды! влетел! расшаркался, разболтался!.. Дура Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.

Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла под мышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «мусье... мамзель... ассамблея... пардон». Общий и продолжительный хохот снова изъяснил удовольствие гостей.

– Ни дать ни взять – Корсаков, – сказал старый квязь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие мало-помалу восстановилось. – А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из неметчины на святую Русь скоморохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать бог весть на каком наречии, не почитать старших да волочиться за чужими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях (прости господи), царский арап всех более на человека похо-

дит.

– Конечно, – заметил Гаврила Афанасьевич, – человек он степенный и порядочный, не чета ветрогону... Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, скоты? – продолжал он, обращаясь к слугам, – бегите, отказать ему; да чтоб и впредь...

– Старая борода, не бредишь ли? – прервала дура Екимовна. – Али ты слеп: сани-то государевы, царь приехал.

Гаврила Афанасьевич встал поспешно из-за стола; все бросились к окнам; и в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра; слуги разбежались как одурелые, гости перетрусились, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра, все утихло, и царь вошел в сопровождении хозяина, оторопелого от радости. «Здорово, господа», – сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскивали в толпе молодую хозяйскую дочь;

он подозревал ее. Наталья Гавриловна приблизилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча. «Ты час от часу хорошеешь», – сказал ей государь и по своему обыкновению поцеловал ее в голову; потом, обратясь к гостям: «Что же? Я вам помешал. Вы обедали; прошу садиться опять, а мне, Гаврила Афанасьевич, дай-ка анисовой водки». Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяйна и спросил себе щей. Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновой костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед, за минуту пред сим шумно оживленный веселием и говорливостию, продолжался в тишине и принужденности. Хозяин, из по-

чтения и радости, ничего не ел, гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Екимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какою-то робкой холодностью, что (замечу мимоходом) вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и все гости. «Гаврила Афанасьевич! – сказал он хозяину: – Мне нужно с тобою поговорить наедине», – и, взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собою дверь. Гости остались в столовой, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столовой, ожидая выхода государева.

Глава V

Через полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклонением головы отвечивал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему крас-

ный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал.

Возвратясь в столовую, Гаврила Афанасьевич казался очень озабочен. Сердито приказал он слугам скорее собирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать, Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку; Гаврила Афанасьевич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и начал вполголоса следующий разговор:

– Недаром государь ко мне пожаловал; угадайте, о чем он изволил со мною беседовать?

– Как нам знать, батюшка-братец, – сказала Татьяна Афанасьевна.

– Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство? – сказал тесть. – Давно пора. Али предложил быть в посольстве? что же? ведь и знатных людей – не одних дьяков посылают к чужим государям.

– Нет, – отвечал зять, нахмурясь. – Я чело-

век старого покроя, нынче служба наша не нужна, хоть, может быть, православный русский дворянин стоит нынешних новичков, блинников да басурманов, – но это статья особая.

– Так о чем же, братец, – сказала Татьяна Афанасьевна, – изволил он так долго с тобою толковать? Уж не беда ли какая с тобою приключилась? Господь упаси и помилуй!

– Беда не беда, а признаюсь, я было призадумался.

– Что же такое, братец? о чем дело?

– Дело о Наташе: царь приезжал ее сватать.

– Слава богу, – сказала Татьяна Афанасьевна, перекрестясь. – Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених, – дай бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?

– Гм, – крякнул Гаврила Афанасьевич, – за кого? то-то, за кого.

– А за кого же? – повторил князь Лыков, начинавший уже дремать.

– Отгадайте, – сказал Гаврила Афанасьевич.

– Батюшка-братец, – отвечала старушка, – как нам угадать? мало ли женихов при дворе: всякий рад взять за себя твою Наташу. Долго-рукий, что ли?

– Нет, не Долгорукий.

– Да и бог с ним: больно спесив. Шеин, Тро-екуров?

– Нет, ни тот ни другой.

– Да и мне они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабрались немецкого духу. Ну так Милославский?

– Нет, не он.

– И бог с ним: богат да глуп. Что же? Елец-кий? Львов? нет? неужто Рагузинский? Воля твоя: ума не приложу. Да за кого ж царь сва-тает Наташу?

– За арапа Ибрагима.

Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил: «За арапа Ибрагима!»

– Батюшка-братец, – сказала старушка слезливым голосом, – не погуби ты своего ро-димого дитяти, не дай ты Наташеньки в ког-ти черному диаволу.

– Но как же, – возразил Гаврила Афанасье-

вич, – отказать государю, который за то обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?

– Как, – воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел, – Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа!

– Он роду не простого, – сказал Гаврила Афанасьевич, – он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и...

– Батюшка, Гаврила Афанасьевич, – перервала старушка, – слышали мы сказку про Бову-королевича да Еруслана Лазаревича. Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание.

– Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело повиноваться ему во всем.

В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврила Афанасьевич пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась – и увидели Наташу, в обмороке простертую на окровавленном полу.

Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее, и когда Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться влечению женского любопытства, тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора; когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о кованый сундук, где хранилось ее приданое.

Люди сбежались; Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе – и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом: «Валериан, милый Валериан, жизнь моя! спаси меня: вот они, вот они!..» Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому

му князю, который, не могши взойти на лестницу, оставался внизу.

– Что Наташа? – спросил он.

– Худо, – отвечал огорченный отец, – хуже, чем я думал: она в беспамятстве бредит Валерианом.

– Кто этот Валериан? – спросил встревоженный старик. – Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?

– Он сам, – отвечал Гаврила Афанасьевич, – на беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь, и черт меня догадал принять в свой дом проклятого волчонка. Когда, тому два года, по его просьбе, записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял как окаменелый. Мне показалось это подозрительным, и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его забыла; ан, видно, нет. Решено: она выйдет за арапа.

Князь Лыков не противуречил: это было бы напрасно. Он поехал домой; Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели; Гаврила Афанасьевич, послав за лекарем, запер-

ся в своей комнате, и в его доме все стало тихо и печально.

Неожиданное сватовство удивило Ибрагима по крайней мере столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случилось: Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему:

– Я замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: чего тебе недостает? – Ибрагим уверил государя, что он доволен своей участью и лучшей не желает.

– Добро, – сказал государь, – если ты скучаешь безо всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить.

По окончанию работы Петр спросил Ибрагима:

– Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал минавет на прошедшей ассамблее?

– Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая.

– Так я ж тебя с нею познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?

– Я, государь?..

– Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с

тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе пристроиться, пока есть еще время; найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством.

– Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай мне бог не пережить своего царя и благодетеля, более ничего не желаю; но если б и имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? моя наружность...

– Твоя наружность! какой вздор! чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей, а посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом? – При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления.

«Жениться! – думал африканец, – зачем же нет? ужели суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека потому только, что я родился под пятнадцатым градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым: детское возражение! разве можно верить любви? разве существует она в женском,

легкомысленном сердце? Отказавшись навеки от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения – более существенные. Государь прав: мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодою Ржевскою присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением».

Ибрагим, по своему обыкновению, хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги и пошел бродить по невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра; оглянулся и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым видом. «Все, брат, кончено, – сказал Петр, взяв его под руку. – Я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему тестю; но смотри, потешь его боярскую спесь; оставь сани у ворот; пройди через двор пешком; поговори с ним о его заслугах, о знатности – и он будет от тебя без памяти. А теперь, – продолжал он, потряхивая дубинкою, – заведи меня к плуту Дани-

лычу, с которым надо мне перевестись за его новые проказы».

Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меншикова и возвратился домой.

Глава VI

Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы.

– Кто здесь? – произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог. – Скоро ли рассветет? – спросила Наталья.

– Теперь уже полдень, – отвечала служанка.

– Ах боже мой, отчего же так темно?

– Окна закрыты, барышня.

– Дай же мне поскорее одеваться.

– Нельзя, барышня, дохтур не приказал.

– Разве я больна? давно ли?

– Вот уж две недели.

– Неужто? а мне казалось, будто я вчера только легла...

Наташа умолкла; она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с нею случилось, но что именно? не могла вспомнить. Служанка все стояла перед нею, ожидая приказанья. В это время раздался снизу глухой шум.

– Что такое? – спросила больная.

– Господа откушали, – отвечала служанка; – встают из-за стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна.

Наташа, казалось, обрадовалась; она махнула слабою рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку.

Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами, и спросили вполголоса:

– Что Наташа?

– Здравствуй, тетушка, – сказала тихо больная; и Татьяна Афанасьевна к ней поспешила.

– Барышня в памяти, – сказала служанка, осторожно придвигая кресла.

Старушка со слезами поцеловала бледное,

томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец-лекарь, в черном кафтане и в ученом парике, вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по-латыни, а потом и по-русски, что опасность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал, а старушка встала и, снова поцеловав Наталью, с доброю вестью тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу.

В гостиной, в мундире при шпаге, с шляпою в руках, сидел царский арап, почтительно разговаривая с Гаврилою Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку; наскуча сим занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки.

– Вас зовут, Гаврила Афанасьевич, – сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврила Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь.

– Дивлюсь твоему терпению, – сказал Корсаков Ибрагиму. – Битый час слушаешь ты

бредни о древности рода Лыковых и Ржевских и еще присовокупляешь к тому свои нравоучительные примечания! На твоём месте j'aurais planté là[21] старого враля и весь его род, включая тут же и Наталию Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, une petite santé...[22] Скажи по совести, ужели ты влюблен в эту маленькую mijaurée [23]? Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету; право, я благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль. Не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете? Например: я, конечно, собою не дурен, но случалось, однако ж, мне обманывать мужей, которые были, ей-богу, ничем не хуже моего. Ты сам... помнишь нашего парижского приятеля, графа D.? Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто смотрит на это равнодушно! Но ты!.. С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплюснутым носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..

– Благодарю за дружеский совет, – перервал холодно Ибрагим, – но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей качать...

– Смотри, Ибрагим, – отвечал, смеясь, Корсаков, – чтоб тебе после не пришлось эту поговорку доказывать на самом деле, в буквальном смысле.

Но разговор в другой комнате становился горяч.

– Ты уморишь ее, – говорила старушка. – Она не вынесет его виду.

– Но посуди ты сама, – возражал упрямый брат. – Вот уж две недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он наконец может подумать, что ее болезнь пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтоб как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так три раза присылал спросить о здоровье Натальи. Воля твоя – а я ссориться с ним не намерен.

– Господи боже мой, – сказала Татьяна Афанасьевна, – что с нею, бедною, будет? По крайней мере пусти меня приготовить ее к такому посещению. – Гаврила Афанасьевич согласился и возвратился в гостиную.

– Слава богу, – сказал он Ибрагиму, – опасность миновалась. Наталье гораздо лучше; если б не совестно было оставить здесь одного дорогого гостя, Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя вверх взглянуть на свою невесту.

Корсаков поздравил Гаврилу Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя.

Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она села, задыхаясь, у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слова, как дверь отворилась. Наташа спросила: кто пришел. Старушка обмерла и онемела. Гаврила Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она? Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила все, весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не

получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза... сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку.

Несчастливая красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая, старая крошка как шарик подкатилась к ее кровати. Ласточка (так называлась карлица) во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилою Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству, сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку.

Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во все, знала все, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла са-

мовластно. Гаврила Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы; Татьяна Афанасьевна поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами; а Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения шестнадцатилетнего своего сердца.

– Знаешь, Ласточка? – сказала она, – батюшка выдает меня за арапа.

Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более.

– Разве нет надежды, – продолжала Наташа, – разве батюшка не сжалится надо мною?

Карлица тряхнула чепчиком.

– Не заступятся ли за меня бабушка али тетюшка?

– Нет, барышня. Арап во время твоей болезни всех успел заворожить. Барин от него без ума, князь только им и бредит, а Татьяна Афанасьевна говорит: жаль, что арап, а лучшего жениха грех нам и желать.

– Боже мой, боже мой! – простонала бедная Наташа.

– Не печалься, красавица наша, – сказала карлица, целуя ее слабую руку. – Если уж и

быть тебе за арапом, то все же будешь на своей воле. Нынче не то, что в старину; мужья жен не запирают: арап, слышно, богат; дом у вас будет как полная чаша, заживешь припеваючи...

– Бедный Валериан! – сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.

– То-то барышня, – сказала она, таинственно понизив голос, – кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б.

– Что? – сказала испуганная Наташа, – я бредила Валерианом, батюшка слышал, батюшка гневается!

– То-то и беда, – отвечала карлица. – Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нечего: уж покорись воле родительской, а что будет то будет.

Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась: умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила.

ла. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.

Глава VII

В доме Гаврилы Афанасьевича из сеней направо находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница, треугольная шляпа; над нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картина, изображающая Карла XII верхом. Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафорке, услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые два часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться.

В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого роста, в мундире, вошел в комнату.

Удивленный швед встал испуганно.

– Ты не узнал меня, Густав Адамыч, – сказал молодой посетитель тронутым голосом, – ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть не наделал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушечки.

Густав Адамыч пристально всматривался...

– Э-э-э, – вскричал он наконец, обнимая его, – сдарофо, тофно ли твой сдесь. Садись, твой тобрий повес, погофорим.

История села Горюхина (1830)

Если бог пошлет мне читателей, то, может быть, для них будет любопытно узнать, каким образом решил я написать Историю села Горюхина. Для того должен я войти в некоторые предварительные подробности.

Я родился от честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года апреля 1 числа и первоначальное образование получил от нашего дьячка. Сему-то почтенному мужу обязан я впоследствии развившейся во мне охотой к чтению и вообще к занятиям литературным. Успехи мои хотя были медленны, но благонадежны, ибо на десятом году от роду

я знал уже почти всё то, что поныне осталось у меня в памяти, от природы слабой и которую по причине столь же слабого здоровья не позволяли мне излишне отягощать.

Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали, и во всем доме, кроме Азбуки, купленной для меня, календарей и Новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на то, каждый день находил в нем новые незамеченные красоты. После генерала Племянникова, у которого батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я спрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству, никто не знал его лично, на все мои вопросы отвечали только, что Курганов сочинил Новейший письмовник, что твердо знал я и прежде. Мрак неизвестности окружал его как некоего древнего полубога; иногда я даже сомневался в истине его суще-

ствования. Имя его казалось мне вымышленным и предание о нем пустою мифою, ожидавшею изыскания нового Нибура. Однако же он всё преследовал мое воображение, я старался придать какой-нибудь образ сему таинственному лицу, и наконец решил, что должен он был походить на земского заседателя Корючкина, маленького старичка с красным носом и сверкающими глазами.

В 1812 году повезли меня в Москву и отдали в пансион Карла Ивановича Мейера – где пробыл я не более трех месяцев, ибо нас распустили перед вступлением неприятеля – я возвратился в деревню. По изгнании двухнадесяти языков хотели меня снова везти в Москву посмотреть, не возвратился ли Карл Иванович на прежнее пепелище или, в противном случае, отдать меня в другое училище, но я упросил матушку оставить меня в деревне, ибо здоровье мое не позволяло мне вставать с постели в 7 часов, как обыкновенно заведено во всех пансионах. Таким образом достиг я шестнадцатилетнего возраста, оставаясь при первоначальном моем образовании и играя в лапту с моими потешными,

единственная наука, в коей приобрел я достаточное познание во время пребывания моего в пансионе.

В сие время определился я юнкером в ** пехотный полк, в коем и находился до прошлого 18** года. Пребывание мое в полку оставило мне мало приятных впечатлений, кроме производства в офицеры и выигрыша 245 рублей в то время, как у меня в кармане всего оставалось рубль 6 гривен. Смерть дражайших моих родителей принудила меня подать в отставку и приехать в мою вотчину.

Сия эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намерен о ней распространиться, заранее прося извинения у благосклонного читателя, если во зло употреблю снисходительное его внимание.

День был осенний и пасмурный. Прибыв на станцию, с которой должно было мне своротить на Горюхино, нанял я вольных и поехал проселочною дорогой. Хотя я нрава от природы тихого, но нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я поминутно погонял моего ямщика, то обещая ему на вод-

ку, то угрожая побоями, и как удобнее было мне толкать его в спину, нежели вынимать и развязывать кошелек, то, признаюсь, разатри и ударил его, что отроду со мною не случилось, ибо сословие ямщиков, сам не знаю почему, для меня в особенности любезно. Ямщик погонял свою тройку, но мне казалось, что он, по обыкновению ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутом, все-таки затягивал гужи. Наконец завидел Горюхинскую рощу; и через 10 минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось – я смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Восемь лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильными цветниками, между которых шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь обращен был в некошенный луг, на котором паслась корова. Бричка моя остановилась у переднего крыльца. Человек мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хотя ставни были открыты и дом казался обитаемым. Баба вышла из людской

избы и спросила, кого мне надобно. Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу, и вскоре дворня меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и незнакомые лица – и дружески со всеми ими целуясь: мои потешные мальчишки были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинам говорил я без церемонии: «Как ты постарела» – и мне отвечали с чувством: «Как вы-то, батюшка, подурнели». Повели меня на заднее крыльцо, на встречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея. Побежали топить баню. Повар, ныне в бездействии отрастивший себе бороду, вызвался приготовить мне обед, или ужин – ибо уже смеркалось. Тотчас очистили мне комнаты, в коих жила кормилица с девушками покойной матушки, и я очутился в смиренной отеческой обители и заснул в той самой комнате, в которой за 23 года тому родился.

Около трех недель прошло для меня в хлопотах всякого роду – я возился с заседателями,

предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Наконец принял я наследство и был введен во владение отчиной; я успокоился, но скоро скука бездействия стала меня мучить. Я не был еще знаком с добрым и почтенным соседом моим **. Занятия хозяйственные были вовсе для меня чужды. Разговоры кормилицы моей, произведенной мною в ключницы и управительницы, состояли счетом из 15 домашних анекдотов, весьма для меня любопытных, но рассказываемых ею всегда одинаково, так что она сделалась для меня другим новейшим письмовником, в котором я знал, на какой странице какую найду строчку. Настоящий же заслуженный письмовник был мною найден в кладовой, между всякой рухлядью, в жалком состоянии. Я вынес его на свет и принялся было за него, но Курганов потерял для меня прежнюю свою прелесть, я прочел его еще раз и больше уже не открывал.

В сей крайности пришло мне на мысль, не попробовать ли самому что-нибудь сочинить? Благосклонный читатель знает уже, что воспитан я был на медные деньги и что

не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено, до шестнадцати лет играя с дворовыми мальчишками, а потом переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, провождая время с жидами да с маркитантами, играя на ободранных биллиардах и маршируя в грязи.

К тому же быть сочинителем казалось мне так мудрено, так недостижимо нам непосвященным, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное желание мое встретиться с одним из них никогда не было исполнено? Но это напоминает мне случай, который намерен я рассказать в доказательство всегдашней страсти моей к отечественной словесности.

В 1820 году еще юнкером случилось мне быть по казенной надобности в Петербурге. Я прожил в нем неделю и, несмотря на то, что не было там у меня ни одного знакомого человека, провел время чрезвычайно весело: каждый день тихонько ходил я в театр, в галерею 4-го яруса. Всех актеров узнал по имени и страстно влюбился в **, игравшую с

большим искусством в одно воскресенье роль Амалии в драме «Ненависть к людям и раскаяние». Утром, возвращаясь из Главного штаба, заходил я обыкновенно в низенькую кондитерскую лавку и за чашкой шоколаду читал литературные журналы. Однажды сидел я углубленный в критическую статью «Благонамеренного»; некто в гороховой шинели ко мне подошел и из-под моей книжки тихонько потянул листок «Гамбургской газеты». Я так был занят, что не поднял и глаз. Незнакомый спросил себе бифштексу и сел передо мною; я всё читал, не обращая на него внимания; он между тем позавтракал, сердито побранил мальчика за неисправность, выпил полбутылки вина и вышел. Двое молодых людей тут же завтракали. «Знаешь ли, кто это был? – сказал один другому: – Это Б., сочинитель». – «Сочинитель», – воскликнул я невольно, – и, оставя журнал недочитанным и чашку недопитою, побежал расплачиваться и, не дождавшись сдачи, выбежал на улицу. Смотря во все стороны, увидел я издали гороховую шинель и пустился за нею по Невскому проспекту только что не бегом. Сделав несколько

шагов, чувствую вдруг, что меня останавливают, – оглядываюсь, гвардейский офицер заметил мне, что-де мне следовало не толкнуть его с тротуара, но скорее остановиться и вытянуться. После сего выговора я стал осторожнее; на беду мою поминутно встречались мне офицеры, я поминутно останавливался, а сочинитель всё уходил от меня вперед. Отроду моя солдатская шинель не была мне столь тягостною, отроду эполеты не казались мне столь завидными. Наконец у самого Аничкина моста догнал я гороховую шинель. «Позвольте спросить, – сказал я, приставя ко лбу руку, – вы г. Б., коего прекрасные статьи имел я счастье читать в „Соревнователе просвещения?“» – «Никак нет-с, – отвечал он мне, – я не сочинитель, а стряпчий, но ** мне очень знаком; четверть часа тому я встретил его у Полицейского мосту». – Таким образом уважение мое к русской литературе стоило мне 30 копеек потерянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть не ареста – а всё даром.

Несмотря на все возражения моего рассудка, дерзкая мысль сделаться писателем поминутно приходила мне в голову. Наконец, не

будучи более в состоянии противиться влечению природы, я сшил себе толстую тетрадь с твердым намерением наполнить ее чем бы то ни было. Все роды поэзии (ибо о смиренной прозе я еще и не помышлял) были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму, почерпнутую из отечественной истории. Недолго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика – и принялся за работу.

К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, именно: «Опасного соседа», «Критику на Московский бульвар», «на Пресненские пруды» и т. п. Несмотря на то поэма моя подвигалась медленно, и я бросил ее на третьем стихе. Я думал, что эпический род не мой род, и начал трагедию Рюрик. Трагедия не пошла. Я попробовал обратить ее в балладу – но и баллада как-то мне не давалась. Наконец вдохновение озарило меня, я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика.

Несмотря на то, что надпись моя была не вовсе недостойна внимания, особенно как первое произведение молодого стихотворца,

однако ж я почувствовал, что я не рожден по-этом, и довольствовался сим первым опытом. Но творческие мои попытки так привязали меня к литературным занятиям, что уже не мог я расстаться с тетрадью и чернильницей. Я хотел низойти к прозе. На первый случай, не желая заняться предварительным изучением, расположением плана, скреплением частей и т. п., я вознамерился писать отдельные мысли, без связи, без всякого порядка, в том виде, как они мне станут представляться. К несчастью, мысли не приходили мне в голову, и в целые два дня надумал я только следующее замечание:

Человек, не повинующийся законам рассудка и привыкший следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию.

Мысль конечно справедливая, но уже не новая. Оставляя мысли, принялся я за повести, но, не умея с непривычки расположить вымышленное происшествие, я избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и старался украсить истину живостию рассказа, а иногда и цветами соб-

ственного воображения. Составляя сии повести, мало-помалу образовал я свой слог и причулся выражаться правильно, приятно и свободно. Но скоро запас мой истощился, и я стал опять искать предмета для литературной моей деятельности.

Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования истинных и великих происшествий давно тревожила мое воображение. Быть судьей, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею степенью, доступной для писателя. Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностию, где бы не предупредили меня многоученые, добросовестные мужи? Какой род истории не истощен уже ими? Стану ль писать историю всемирную – но разве не существует уже бессмертный труд аббата Милота? Обращусь ли к истории отечественной? что скажу я после Татищева, Болтина и Голикова? и мне ли рыться в летописях и добираться до сокровенного смысла обветшалого языка, когда не мог я выучиться славянским цифрам? Я думал об истории меньшего объема, например об истории губернского на-

шего города; но и тут сколько препятствий, для меня неодолимых! Поездка в город, визиты к губернатору и к архиерею, просьба о допущении в архивы и монастырские кладовые и проч. История уездного нашего города была бы для меня удобнее, но она не была занимательна ни для философа, ни для прагматика и представляла мало пицци красноречию: *** был переименован в город в 17 ** году, и единственное замечательное происшествие, сохранившееся в его летописях, есть ужасный пожар, случившийся десять лет тому назад и истребивший базар и присутственные места.

Нечаянный случай разрешил мои недоумения. Баба, развешивая белье на чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами. Весь дом знал охоту мою к чтению. Ключница моя, в то самое время как я, сидя за моей тетрадью, грыз перо и думал об опыте сельских проповедей, с торжеством втащила корзинку в мою комнату, радостно восклицая: «книги! книги!» – «Книги!» – повторил я с восторгом и бросился к корзинке. В самом деле, я увидел целую груду книг в зеленом и синем бумажном переплете.

Это было собрание старых календарей. Сие открытие охладило мой восторг, но всё я был рад нечаянной находке, всё же это были книги, и я щедро наградил усердие прачки полтиною серебром. Оставшись наедине, я стал рассматривать свои календари, и скоро мое внимание было сильно ими привлечено. Они составляли непрерывную цепь годов от 1744 до 1799, т. е. ровно 55 лет. Синие листы бумаги, обыкновенно вплетаемые в календари, были все исписаны старинным почерком. Брося взор на сии строки, с изумлением увидел я, что они заключали не только замечания о погоде и хозяйственные счета, но также и известия краткие исторические касательно села Горюхина. Немедленно занялся я разбором драгоценных сих записок и вскоре нашел, что они представляли полную историю моей отчины в течение почти целого столетия в самом строгом хронологическом порядке. сверх сего заключали они неистощимый запас экономических, статистических, метеорологических и других ученых наблюдений. С тех пор изучение сих записок заняло меня исключительно, ибо увидел я возможность извлечь из

них повествование стройное, любопытное и поучительное. Ознакомясь довольно с драгоценными сими памятниками, я стал искать новых источников истории села Горюхина. И вскоре обилие оных изумило меня. Посвятив целые шесть месяцев на предварительное изучение, наконец приступил я к давно желанному труду и с помощью божиею совершил оный сего ноября 3 дня 1827-го года.

Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не запомню, оконча свой трудный подвиг, кладу перо и с грустию иду в мой сад размышлять о том, что мною совершено. Кажется и мне, что, написав Историю Горюхина, я уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что пора мне опочить!

Здесь прилагаю список источников, послуживших мне к составлению Истории Горюхина:

1. Собрание старинных календарей. 54 части. Первые 20 частей исписано старинным почерком с титлами. Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Бел-

киным. Она отличается ясностью и краткостью слога, например: 4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 – корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 – погода ясная. 9 – дождь и снег. Тришка бит по погоде. 11 – погода ясная. Пороша. Затравил 3 зайцев, и тому подобное, безо всяких размышлений... Остальные 35 частей писаны разными почерками, большею частью так называемым лавочничьим с титлами и без титлов, вообще плодовито, несвязно и без соблюдения правописания. Кой-где заметна женская рука. В сие отделение входят записки деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабушки моей, а его супруги, Евпраксии Алексеевны, также и записки приказчика Гарбовицкого.

2. Летопись горюхинского дьячка. Сия любопытная рукопись отыскана мною у моего попа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи. Один из таковых упал посреди моего двора. Я поднял его и хотел было возвратить детям, как заметил, что он был исписан. С первых строк увидел я, что змей составлен был из летописи.

си, к счастью успел спасти остальное. Летопись сия, приобретенная мною за четверть овса, отличается глубокомыслием и велеречием необыкновенным.

3. Изустные предания. – Я не пренебрегал никакими известиями. Но в особенности обязан Аграфене Трифионовой, матери Авдея-старосты, бывшей, говорят, любовницею приказчика Гарбовицкого.

4. Ревижские сказки, с замечаниями прежних старост (счетные и расходные книги) касательно нравственности и состояния крестьян.

Страна, по имени столицы своей Горюхином называемая, занимает на земном шаре более 240 десятин. Число жителей простирается до 63 душ. К северу граничит она с деревнями Дериуховом и Перкуховом, коего обитатели бедны, тощи и малорослы, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению заячьей охоты. К югу река Сивка отделяет ее от владений карачевских вольных хлебопашцев – соседей беспокойных, известных буйной жестокостию нравов. К западу облега-

ют ее цветущие поля захарьинские, благоденствующие под властью мудрых и просвещенных помещиков. К востоку примыкает она к диким, необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное кваkanie лягушек и где суеверное предание предполагает быть обиталищу некоего беса.

NB. Сие болото и называется Бесовским. Рассказывают, будто одна полуумная пастушка стерегла стадо свиней недалече от сего уединенного места. Она сделалась беременною и никак не могла удовлетворительно объяснить сего случая. Глас народный обвинил болотного беса; но сия сказка недостойна внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить.

Издrevле Горюхино славилось своим плодородием и благорастворенным климатом. Рожь, овес, ячмень и гречиха рождаются на тучных его нивах. Березовая роща и еловый лес снабжают обитателей деревьями и валежником на построение и отопку жилищ. Нет недостатка в орехах, клюкве, бруснике и чер-

нике. Грибы произрастают в необыкновенном количестве; сжаренные в сметане представляют приятную, хотя и нездоровую пищу. Пруд наполнен карасями, а в реке Сивке водятся щуки и налимы.

Обитатели Горюхина большей частью росту среднего, сложения крепкого и мужественного, глаза их серы, волосы русые или рыжие. Женщины отличаются носами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностью. NB. Баба здоровенная, сие выражение встречается часто в примечаниях старосты к Ревижским сказкам. Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пашне), храбры, воинственны: многие из них ходят одни на медведя и славятся в околке кулачными бойцами; все вообще склонны к чувственному наслаждению пиянства. Женщины сверх домашних работ разделяют с мужчинами большую часть их трудов; и не уступят им в отважности, редкая из них боится старосты. Они составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском дворе, и называются копей-

щицами (от словенского слова копьё). Главная обязанность копейщиц как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем устрашать злоумышление. Они столь же целомудренны, как и прекрасны, на покушения дерзновенного отвечают сурово и выразительно.

Жители Горюхина издавна производят обильный торг лыками, лукошками и лаптями. Сему способствует река Сивка, через которую весной переправляются они на челноках, подобно древним скандинавам, а прочие времена года переходят вброд, предварительно засучив портки до колен.

Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же разнится от него, как и русский. Он исполнен сокращениями и усечениями, некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или заменены другими. Однако ж великороссиянину легко понять горюхинца, и обратно.

Мужчины женивались обыкновенно на 13-м году на девицах 20-летних. Жены били своих мужей в течение четырех или пяти лет. После чего мужья уже начинали бить жен; и таким образом оба пола имели свое время

власти, и равновесие было соблюдено.

Обряд похорон происходил следующим образом. В самый день смерти покойника относили на кладбище, дабы мертвый в избе не занимал напрасно лишнего места. От сего случалось, что к неописанной радости родственников мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за околицу. Жены оплакивали мужьев, воя и приговаривая: «Свет-моя удалая головушка! на кого ты меня покинул? чем-то мне тебя помина-ти?» При возвращении с кладбища начиналась тризна в честь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны два, три дня или даже целую неделю, смотря по усердию и привязанности к его памяти. Сии древние обряды сохранились и поныне.

Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения. Зимой носили они овчинный тулуп, но более для красоты, нежели из настоящей нужды, ибо тулуп обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывали при малейшем труде, требующем движения.

Науки, искусства и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно цветущем состоянии. Сверх священника и церковных причетников, всегда водились в нем грамотеи. Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 году, умевшем писать не только правой, но и левою рукою. Сей необыкновенный человек прославился в okolodge сочинением всякого роду писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и т. п. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время как приучался писать правою ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны. Он играет, как читатель увидит ниже, важную роль и в истории Горюхина.

Музыка была всегда любимое искусство образованных горюхинцев; балалайка и волынка, услаждая чувствительные сердца, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением двуглавого орла.

Поэзия некогда процветала в древнем Го-

рюхине. Доныне стихотворения Архипа-Лысо-го сохранились в памяти потомства.

В нежности не уступят они эклогам известного Виргилия, в красоте воображения далеко превосходят они идиллии г-на Сумарокова. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними затейливостию и остроумием.

Приведем в пример сие сатирическое стихотворение:

*Ко боярскому двору
Антон староста идет, (2)
Бирки в пазухе несет (2)
Боярину подает,
А боярин смотрит,
Ничего не смыслит.
Ах ты, староста Антон,
Об окрал бояр кругом,
Село по миру пустил,
Старостиху надарил.*

Познакомя таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию.

Баснословные времена

Староста Трифон

Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно находилось под властью старшин, выбранных миром, приказчиков, назначенных помещиком, и наконец, непосредственно под рукою самих помещиков. Выгоды и невыгоды сих различных образов правления будут развиты мною в течение моего повествования.

Основание Горюхина и первоначальное население оногo покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители оногo были зажиточны, что оброк собирали единожды в год и отсылали неведомо кому на нескольких возах. В то время всё покупали дешево, а дорого продавали. Приказчиков не существовало, старосты никого не обижали, обитатели работали мало, а жили припеваючи, и пастухи стерегли стадо в сапогах. Мы не должны обольщаться сею очаровательною картиною. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и,

по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что достоверно:

Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных. Но предки мои, владея многими другими отчинами, не обращали внимания на сию отдаленную страну. Горюхино платило малую дань и управлялось старшинами, избираемыми народом на вече, мирскою сходкою называемом.

Но в течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек и требовали прежнего полного дохода от имения, в десять крат уже уменьшившегося. Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал их на вече; старшины витийствовали, мир волновался, а господа, вместо двойного оброку, получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом.

Мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял. В последний

год властвования Трифона, последнего старосты, народом избранного, в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал увеселительное здание (кабаком в просторечии именуемое) или бродил по улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни Архипа-Лысого, въехала в село плетеная крытая бричка, заложенная парюю клячедва живых; на козлах сидел оборванный жид, а из брички высунулась голова в картузе и, казалось, с любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встретили повозку смехом и грубыми насмешками. (NB. Свернув трубкою воскраия одежд, безумцы глумились над еврейским возницею и восклицали смехотворно: «Жид, жид, ешь свиное ухо!..» Летопись горюхинского дьячка.) Но сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда приезжий, выпрыгнув из нее, повелительным голосом потребовал старосты Трифона. Сей сановник находился в увеселительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки. Незнакомец, посмотрев на него грозно, подал ему письмо и велел читать оное немедленно. Старосты го-

Горюхинские имели обыкновение никогда ничего сами не читать. Староста был неграмотен. Послали за земским Авдеем. Его нашли неподалеку, спящего в переулке под забором, и привели к незнакомцу. Но по приводе или от внезапного испуга, или от горестного предчувствия, буквы письма, четко написанного, показались ему отуманенными, и он не был в состоянии их разобрать. Незнакомец, с ужасными проклятиями отослав спать старосту Трифона и земского Авдея, отложил чтение письма до завтрашнего дня и пошел в приказную избу, куда жид понес за ним и его маленький чемодан.

Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенное происшествие, но вскоре бричка, жид и незнакомец были забыты. День кончился шумно и весело, и Горюхино заснуло, не предвидя, что ожидало его.

С восходом утреннего солнца жители были пробуждены стуком в окошки и призыванием на мирскую сходку. Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служивший вечевою площадию. Глаза их были

мутны и красны, лица опухлы; они, зевая и почесываясь, смотрели на человека в картузе, в старом голубом кафтане, важно стоявшего на крыльце приказной избы, и старались припомнить себе черты его, когда-то ими виденные. Староста Трифон и земский Авдей стояли подле него без шапки с видом подобострастия и глубокой горести. «Все ли здесь?» – спросил незнакомец. «Все ли-ста здесь?» – повторил староста. «Все-ста», – отвечали граждане. Тогда староста объявил, что от барина получена грамота, и приказал земскому прочесть ее во услышание мира. Авдей выступил и громогласно прочел следующее. (NB. «Грамоту грозновещую сию списах я у Трифона-старосты, у него же хранилася она в кивоте вместе с другими памятниками владычества его над Горюхином». Я не мог отыскать сего любопытного письма.)

Трифон Иванов!

Вручитель письма сего, поверенный мой **, едет в отчину мою село Горюхино для поступления в управление оногo. Немедленно по его прибытию собрать мужиков и объ-

явить им мою барскую волю, а именно: Приказаний поверенного моего ** им, мужикам, слушаться, как моих собственных. А всё, чего он ни потребует, исполнять беспрекословно, в противном случае имеет он ** поступать с ними со всевозможною строгостию. К сему понудило меня их бессовестное непослушание и твое, Трифон Иванов, плутовское по-творство.

Подписано NN.

Тогда **, растопыря ноги наподобие буквы хера и подбочась наподобие ферта, произнес следующую краткую и выразительную речь: «Смотрите ж вы у меня, не очень умничайте; вы, я знаю, народ избалованный, да я выбью дурь из ваших голов небось скорее вчерашнего хмеля». Хмеля ни в одной голове уже не было. Горюхинцы, как громом пораженные, повесили носы и с ужасом разошлись по домам.

Правление приказчика **

** принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы; она заслуживает особенного рассмотрения.

Главным основанием оной была следующая аксиома: Чем мужик богаче, тем он избалованнее, чем беднее, тем смиреннее. Вследствие сего ** старался о смирности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал опись крестьянам, разделил их на богачей и бедняков. 1) Недоимки были разложены меж зажиточных мужиков и взысканы с них со всевозможною строгостию. 2) Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню, если же по его расчету труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что сии платили ему добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться, заплатя сверх недоимок двойной годовой оброк. Всякая общественная повинность падала на зажиточных мужиков. Рекрутство же было торжеством корыстолюбивому правителю; ибо от одного по очереди откупались все богатые мужики, пока наконец выбор не падал на негодя или разоренного. Мирские сходки были уничтожены.

Оброк собирал он понемногу и круглый

год сряду. Сверх того, завел он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противу прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В три года Горюхино совершенно обнищало.

Горюхино приуныло, базар запустел, песни Архипа-Лысого умолкли. Ребятишки пошли по миру. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в батраках; и день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не днем радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного.

Примечания

Прочь, непосвященные (*лат.*).

[^^^]

2

Доказательства тому царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной Елисаветы.

[^^^]

История представляет около его всеобщее рабство. Указ, разорванный кн. Долгоруким, и письмо с берегов Прута приносят великую честь необыкновенной душе самовластного государя; впрочем, все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубинкою. Всё дрожало, всё безмолвно повиновалось.

[^^^]

4

Бесплодными, ибо Дунай должен быть настоящею границею между Турциею и Россией. Зачем Екатерина не совершила сего важного плана в начале Французской революции, когда Европа не могла обратить деятельного внимания на воинские наши предприятия и изнуренная Турция нам упорствовать? Это избавило бы нас от будущих хлопот.

[^^^]

5

Потемкин послал однажды адъютанта взять из казенного места 100 000 рублей. Чиновники не осмелились отпустить эту сумму без письменного вида. Потемкин на другой стороне их отношения своеручно приписал; дать, е... м...

[^^^]

6

Домашний палач кроткой Екатерины.

[^^^]

Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой.

[^^^]

Денди, щеголя (*англ.*)

[^^^]

«Московский вестник» будет издаваться в нынешнем году в том виде, в каком издавался он в 1827 и 1828. Сей журнал почти постоянно отличается статьями любопытными, дельными критиками и благонамеренностию. Преведние сотрудники продолжают участвовать в сем издании. (Прим. Пушкина.)

[^^^]

Книги имеют свою судьбу (лат.)

[^^^]

На днях будет представлена на здешнем театре его комедия «Ревизор». (Прим. Пушкина.)

[^^^]

12

То мужчина, то женщина. Овидий (лат.)

[^^^]

Не следует, чтобы честный человек заслуживал повешения (*фр.*).

[^^^]

А. М. Кутузова, которому Радищев и посвятил
«Житие Ф. В. Ушакова». (Прим. Пушкина.)

[^^^]

Счастлиное время, отмеченное вольностью нравов,

Когда безумие, звеня своей погремушкой,
Легкими стопами обегает всю Францию,
Когда ни один из смертных не изволит
быть богомольным,
Когда готовы на все, кроме покаяния (фр.).

[^^^]

Царского негра (*фр.*).

[^^^]

Доброй ночи (*фр.*).

[^^^]

Доброй ночи, господа (*фр.*).

[^^^]

Между нами (*фр.*).

[^^^]

Что за чертовщина все это? (*фр.*)

[^^^]

Я бы плюнул на (*φp.*).

[^^^]

Слабой здоровьем (*фр.*).

[^^^]

Жеманницу (*фр.*).

[^^^]